4
К-85

МИР
знаний

Л. П. КРЫСИН

Язык в современном обществе



ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова
www.ruslang.ru

71884

МИР ЗНАНИЙ

Л. П. КРЫСИН

Язык в современном обществе

Книга для внеклассного чтения
VIII—X классы

МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1977

4Р
К 85

4

К-85

БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

71884

Крысин Л. П.

К 85 Язык в современном обществе. Книга для внеклассного чтения. VIII—X классы. М., «Просвещение», 1977.

192 с. с ил. (Мир знаний).

В книге, адресованной старшеклассникам, в доступной и увлекательной форме освещены проблемы, которые помогут учащимся разобраться в очень важной теме современного языкознания «Язык и общество». Книга расширит знания школьников о языке и его роли в жизни человека.

К $\frac{60601—367}{103\ (03)—77}$ 257—77 4Р

© Издательство «Просвещение», 1977 г.

Моим детям —
с любовью и надеждой

Об этой книге

«В языке одухотворяется весь народ и вся его родина,— писал замечательный русский педагог К. Д. Ушинский.— Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое живое целое... Пока жив язык народный в устах народа, жив и народ»[1].

Книга, первую страницу которой вы открыли, рассказывает о том, как живет язык в обществе, как он используется народом, людьми. Правда, в ней не говорится, как устроен язык, какова его структура, о том, как он развивается, как обогащается новыми словами, как взаимодействуют языки друг с другом, и еще о многом, что имеет непосредственное отношение к лингвистике — науке о языке.

Даже из того, что прямо касается проблемы «язык — общество», взято не все, а лишь то, что связано с существованием языка в современном обществе. Например, вы не найдете в этой книге сведений о таком интересном явлении, как табу — общественных запретах на определенные имена, обороты: это явление свойственно языкам главным образом на ранней стадии их развития; об отражении в языке разного рода суеверий, о приписывании отдельным словам магической силы, о таких социальных функциях языка, в которых он сейчас, в наши дни, употребляется редко (например, использование языка в заговорах, в торговых зазывах и т. п.).

[1] Ушинский К. Д. Сочинения, т. 2. М., 1948, с. 557.

А что же есть в книге? На это прямо указывает название. Можно немного расширить его и попытаться представить себе круг тем, которые им объединены. Сделать это легче всего в форме вопросов:

Какова роль языка в современном обществе, с его многослойной, сложной структурой, с невероятно многочисленными сферами общения? Какие функции выполняет язык, проще говоря — для чего он нужен? Как обусловлены функции языка социальными потребностями? Какие силы, какие факторы определяют использование языка в обществе, в группе, в индивидуальном общении людей? Можно ли по речи отличить образованного человека от необразованного, взрослого от подростка, колхозника от рабочего? Что заставляет нас одни обороты речи оценивать как правильные, а другие — как ошибочные или же просто чуждые нашей речевой манере? Почему люди, владеющие каким-нибудь языком (например, русским), чутко реагируют не только на то, ч т о́ говорит им на этом языке их собеседник, но и на то, к а́ к он это говорит? Ведь, например, школьник нередко слышит от родителей или от учителей: «Как ты разговариваешь со старшими?! Не груби! Сбавь тон!» Или же, напротив: «Как ты хорошо сказал это бабушке! Сразу видно — уважаешь старших...».

Откуда мы знаем, каков должен быть тон просьбы и чем он отличается, скажем, от тона команды или объяснения урока? Почему с отцом нельзя разговаривать так же, как с приятелем?

Этим вопросам и посвящена книга. Она состоит из двух частей. В первой части говорится о многообразии и одновременно единстве каждого языка, о том, почему язык расслоен на разные области и (как любят выражаться лингвисты) подсистемы и какая из этих подсистем главная, обеспечивающая цельность языка как средства общения. Вторая часть — о том, как использует человек это многообразие языковых средств в повседневной жизни.

Автор надеется, что книга расширит представление учащихся о роли языка в жизни современного общества, даст им пищу для размышлений над фактами родной речи. Автор глубоко признателен профессору Саратовского университета Л. И. Б а р а н н и к о в о й и учительнице ленинградской школы № 75 И. М. Е п а н ч и н ц е в о й, прочитавшим рукопись и сделавшим ряд ценных критических замечаний.

ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ ЯЗЫК?

Из всех живых существ только человек одарен речью.

Аристотель

В названии этой главы слово *язык* употреблено, разумеется, не в анатомическом смысле, а в лингвистическом: язык как система словесных и других звуковых средств, которые служат для передачи мыслей и выражения чувств, для общения людей друг с другом.

Это разъяснение отчасти и отвечает на поставленный в заглавии вопрос: затем язык и нужен, чтобы общаться, чтобы обмениваться мыслями, вообще — информацией. Но ведь это очевидно, знакомо всем и каждому. Стоит ли в таком случае задавать вопрос (да еще посвящать ему целую главу), однозначный ответ на который известен заранее?

Не будем торопиться. Вдумаемся внимательно в наш заголовок, в каждый его компонент: *язык, человек, цель* («для чего»). Если определять язык как то, что служит средством общения, то возникает еще один вопрос: достаточно ли такое определение? Можем ли мы назвать языком азбуку Морзе, морскую флажковую сигнализацию? Отнесем ли мы к языку телефон, телеграф (средства общения!)? Наконец, является ли языком в интуитивно понимаемом нами смысле язык дельфинов, которые, как известно, общаются между собой, используя сигналы, находящиеся за порогом слышимости для человеческого уха?

Во всех этих случаях речь идет об очень разных вещах, объединение которых под одним определением: «средства общения» — ничего не проясняет в их сущности. И, главное, невозможно считать хотя бы одно из этих средств языком в том смысле, какой мы привыкли вкладывать в выра-

жения «владеть языком», «человеческий язык», «на русском языке» и под.

Значит, привычная для нас еще со школьной скамьи формула «язык — средство общения» — недостаточна: она не раскрывает отличий языка от других средств общения.

Одно из основных отличий заключается в том, что это средство общения л ю д е й (сразу отпадает «язык» дельфинов). Второе отличие в том, что язык служит не только для общения, но и для мышления (отпадают азбука Морзе и морской код, которые, конечно же, не участвуют в процессе человеческого мышления). Третье — что это с и с т е м а, состоящая из определенным образом организованных з в у к о в ы х (или отражаемых на письме) з н а к о в (отпадают такие средства , а точнее — орудия общения людей, как телефон и телеграф: с их помощью только передаются языковые знаки).

Получается, что язык — не просто средство или орудие общения, а особая с и с т е м а з в у к о в ы х з н а к о в, с л у ж а щ а я ч е л о в е к у д л я м ы ш л е н и я и д л я п е р е д а ч и р а з н о о б р а з н о й и н ф о р м а ц и и и с у щ е с т в у ю щ а я т о л ь к о в ч е л о в е ч е с к о м о б щ е с т в е.

Позвольте, вправе возразить внимательный читатель, а то, что при общении друг с другом используют глухонемые — система их жестов,— разве это не язык?

Да, язык. Только форма знака здесь не звуковая, а двигательная. Значение же, которое имеет каждый знак-жест, в принципе не отличается от значения знака-слова — различия лишь в том, как членят неязыковую действительность жесты глухонемых и слова обычного языка: то, чему в языке глухонемых соответствует один жест, может быть названо двумя или несколькими словами.

И знаки-жесты, и знаки-слова служат средством мышления. С их помощью осуществляется так называемая в н у т р е н н я я р е ч ь.

Что же такое внутренняя речь? Это речь «про себя», не слышная для окружающих. Вот что пишет о механизме внутренней речи советский психиатр, автор научно-популярных книг В. Леви: «Задумавшись, человек беззвучно шевелит губами. Особенно легко это заметить у детей, у стариков или у людей, очень напряженно, сосредоточенно думающих. Это и есть внутренняя речь, речь про себя, которая в таких случаях оказывается уже не совсем про себя,

не совсем внутренней... Записи биотоков с помощью особых приборов показали, что при внутренней речи скрыто работают те же мышцы, что и при внешней: мышцы гортани, губ, языка, диафрагмы, нёба. Но звуков не получается, потому что эта мышечная работа предельно слабая, тонкая, филигранная. Скрыто произносятся не слова и даже не обрывки слов, а их мышечные «кусочки»... Глухонемые же координируют свою речь не слухом, а вибрационным и мышечным чувством. Мышление глухонемых тоже, очевидно, использует внутреннюю речь, но не мышечно-слуховую, а мышечно-зрительную» (В. Л е в и. Охота за мыслью).

Иными словами, подобно тому, как у владеющего звуковым языком человека во время внутренней речи скрыто воспроизводятся мышечные кусочки слов, у глухонемых в той же ситуации воспроизводятся мышечные кусочки жестов. Именно поэтому погруженный в свои мысли глухонемой может делать руками непроизвольные движения, представляющие «свернутые» жесты его языка (сравните с бормотанием — «свертыванием» слов! — напряженно думающего человека).

Итак, язык — чисто *человеческое* явление, существующее только в человеческом обществе и обслуживающее истинно человеческие потребности: мышление и общение.

Но вот что удивительно: существуя лишь в человеческом обществе и только для его нужд, язык не есть сознательное «изобретение» человека. «По моему глубокому убеждению,— писал знаменитый немецкий лингвист В. Гумбольдт,— язык следует рассматривать как непосредственно заложенный в человеке, ибо сознательным творением человеческого разума язык объяснить невозможно».

Конечно, эти слова нельзя понимать в том смысле, что язык наследственная, биологическая функция человека, подобно врожденным рефлексам, инстинктам. Нет, В. Гумбольдт имел в виду человеческую — врожденную! — *способность обучаться* языку той социальной среды, в которой он родился и растет. И это действительно так.

Человек рождается с заложенной в нем способностью обучаться языку, и обучение это происходит с поразительным успехом: в первые же годы жизни ребенок усваивает все практически необходимые навыки думанья и говорения на языке окружающей среды.

Но мне могут возразить: за несколько лет можно научить языку и попугая; пусть в меньшем объеме, но он все же может имитировать человеческую речь. Вот именно — имитировать. Попугай способен лишь подражать звукам человеческого голоса, но он не порождает этих звуков и состоящих из них слов в том смысле, в каком это делает ребенок и вообще человек: этому не предшествует процесс мышления.

Рассмотрим теперь нашу проблему исторически. Возникновение и формирование языка происходило в человеческом обществе, пусть примитивном, но уже ощущающем две настоятельнейшие потребности: мыслить и общаться. Язык и возник как средство, удовлетворяющее эти потребности. Но можем ли мы сказать, что язык — продукт сознательного творчества отдельных людей? Конечно, нет. Язык сформировался как результат многовековой совместной трудовой деятельности наших далеких предков и связанной с ней постоянной необходимостью контакта, общения. Появление человеческой речи обусловил сложный комплекс биологических и социальных причин и обстоятельств. Но мы не будем останавливаться даже на краткой их характеристике, ибо это увело бы нас от рассмотрения вопроса о том, для чего человеку язык.

Для мышления и общения — это слишком общая формулировка. В реальной жизни язык служит самым разнообразным конкретным целям. Каковы же эти цели?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо рассказать о функциях языка.

В повседневной жизни каждый из нас пишет, читает и, больше всего,— говорит. Например, по данным японских лингвистов, служащий в Японии тратит на разговоры больше семи часов (!), т. е. половину всего времени бодрствования, на чтение — полтора часа, на писание 47 минут.

Во всех этих случаях используется язык, но это использование — неодинаковое. Даже при выполнении одного вида языковой деятельности, например писания, человек употребляет не одни и те же языковые средства, а разные: школьное сочинение требует иных слов и конструкций, чем деловое заявление; выдавая официальную справку, юрист или делопроизводитель подберут такие выражения, которых мы не встретим в их частных письмах родным или друзьям; инструкция о том, как учить детей плавать, обычно бывает написана таким языком, который «противо-

показан» лирическому стихотворению, а газетная передовица, как правило, не содержит слов и оборотов, свойственных художественной речи.

Научная статья, объявление, газетный фельетон, жалоба, текст закона, приключенческая повесть, заявление директору, соцобязательство, школьное сочинение, отчет о футбольном матче, расписка должника, конспект лекции, поэма, ордер на квартиру, дневник, запись в трудовой книжке — во всех этих жанрах письменной речи используется один и тот же язык (скажем — русский). Один и тот же? Нет, р а з н ы й русский язык.

То же и в устном общении.

На первый взгляд кажется, что устная речь, в отличие от письменной, не сдерживается регламентациями и правилами: говори как нравится, лишь бы собеседник понял тебя...

«Лишь бы собеседник понял тебя»... Но это и есть первое ограничение! Говорящий (как, впрочем, и пишущий) должен о р и е н т и р о в а т ь с я н а с л у ш а т е л я, учитывать его интересы: если произносить слова неразборчиво, или слишком быстро, или не с той интонацией, или использовать незнакомые слушателю средства (скажем, слова неизвестного ему языка), то общение будет затруднено, а то и прекратится совсем.

Следовательно, в зависимости от того, с к е́ м человек говорит, его речь в а р ь и р у е т с я: близкий друг поймет с полуслова, но «полуслова» явно недостаточно, когда отвечаешь урок учителю; в разговоре с незнакомым собеседником нижна речевая (словесная и особенно интонационная) настройка, более длительная и более сложная, чем в беседе с товарищем, хотя и здесь она нужна: вступая в контакт, люди как бы нащупывают настроение друг друга, расположенность или, напротив, нерасположенность к разговору, к шутке и т. д.— это предъявляет определенные требования к выбору слов и интонаций.

Наконец, рисунок речи каждого из нас достаточно сильно зависит от того, обращаемся ли мы к официальному лицу или вступаем в разговор с близким человеком. Да и наша собственная роль — тоже фактор немаловажный: если мы в роли воспитателей, то тип речи один, с преобладанием побудительных и «дидактических» средств, если в роли рассказчика — в ходу повествовательные интонации, эмоциональная лексика.

В зависимости от того, какую цель мы преследуем: сообщаем новость, констатируем факт, настаиваем, обязуемся, просим, побуждаем адресат к действию, возмущаемся несправедливостью, мы выбираем разные средства, прибегаем к разным оборотам и интонациям, используем различные функции слова.

Лингвисты всегда подчеркивают главное назначение языка, основную его функцию — информационную, или функцию сообщения. Она вытекает из необходимости «сообщать свои мысли другим и добиваться взаимопонимания в отношении самых насущных потребностей бытия», как писал известный французский лингвист начала XX в. Шарль Балли.

И в самом деле, постоянно взаимодействуя друг с другом в процессе производства и потребления, в повседневной бытовой и культурной жизни, люди все время что-то сообщают друг другу: свой жизненный опыт, новости, оценки событий, собственные мнения и т. п.

В языке есть средства, наиболее пригодные для осуществления функции сообщения. Это нейтральные в стилистическом отношении слова и конструкции, главная задача которых — называть те или иные явления, факты, действия, не внося никаких — ни положительных, ни отрицательных — оценок: *бежать, нападение, быстро, лошадь, стихи, говорить* и мн. др. Сравните слова, близкие по значениям, но содержащие в себе положительную или отрицательную оценку обозначаемого явления: *мчаться (нестись), агрессия* (тоже нападение, но «незаконное» с точки зрения говорящего), *сломя голову, кляча, вирши* (в значении 'плохие стихи'), *вещать* и *вякать* и др.

Подобные различия мы можем отметить и в морфологических формах. В газетной корреспонденции вряд ли встретятся слова *домище, высоченный, сказанул, тихонечко.* На их месте будут стоять соответствующие им чисто «информативные» слова и сочетания: *большой дом, очень высокий, сказал, тихо.* Правда, если внимательно приглядеться к тем и другим словам, то можно заметить, что они не соответствуют, не равны друг другу по объему значения. И это действительно так: та эмоциональная окраска, которая характерна для слов и форм вроде *кляча* и *высоченный,* очень часто свидетельствует о некоей смысловой добавке в значении этих единиц — по сравнению с единицами нейтральными. И, кроме того, многие из этих слов пото-

му и эмоциональны, что выражают оценку факта говорящими. *Кляча* — не просто лошадь, а слабосильная, изможденная (работой или болезнью) лошадь; *домище* — не объективно большой дом, а большой с точки зрения говорящего.

Сходные отношения — между информативными и эмоциональными синтаксическими конструкциями. Например: *Он его толкнул — А он как толкнет его, Как он его толканет, Он возьми да и толкни его; Твоя книга мне не нужна — Нужна мне твоя книга!* (в последнем случае говорящий с возмущением отвергает подозрение в том, что он взял чужую книгу) и т. п.

Там, где требуется только информация, передача сведений, почти не употребляются некоторые интонационные типы предложений, например бóльшая часть вопросительных и восклицательных.

Информационная функция языка реализуется во многих жанрах современной литературной речи: радио- или газетной корреспонденции, научной статье, лекции, репортаже. Все это жанры сообщающие. В таких жанрах, как очерк, критическая статья, комментарий на международные темы, стихотворение, выступление на собрании, беседа врача — информативная функция присутствует и если не преобладает, то взаимодействует с другими функциями языка: выражения эмоций (ученые называют ее эмотивной), познавательной, агитационной, эстетической, поэтической.

В речевой деятельности человека обычно и естественно именно с о ч е т а н и е различных функций языка, с преобладанием той или другой. «Чистое» выражение какой-либо одной функции встречается редко.

Иногда одна лишь фраза и даже одно слово (составляющее предложение) может объединять в себе несколько функций. Например, если больной произносит: *Водú!* — это одновременно и с о о б щ е н и е (о том, что он хочет пить), и выражение э м о ц и и (чувства жажды), и о б р а щ е н и е, и «агитация», побуждение другого лица к действию (напомним, что одно из значений латинского слова *агитацио* — 'приведение в действие, побуждение').

Особенно сложно сочетаются языковые функции в художественном тексте: здесь и сообщение, и создание — языковыми средствами — особой установки у читателя, и воздействие словом на его чувства, и элемент агитацион-

ный (как в стихах В. Маяковского), и познавательный (как, например, в прозе М. М. Пришвина, рассказах В. Бианки, в научно-художественных очерках акад. А. Ферсмана).

В жанрах нехудожественной письменной и устной речи легче выделить какое-либо одно, главное предназначение языка, соответствующее целям данного жанра. Так, в научно-популярной статье, докладе, объяснении урока преобладают информационная и познавательная функции, в речи на митинге — агитационная, а признание в любви использует язык в его эмотивной (т. е. служащей для выражения чувств, эмоций) функции.

Есть еще одна любопытная, и притом очень характерная для человеческого общества «ипостась» языка.

Всем нам известны такие выражения бытовой речи, как *Что нового?, Как дела?, Как жизнь?* и даже просто *Ну, как?*... Есть подобные выражения и в других языках: американцы в качестве приветствия спрашивают друг друга *How do you do?*, французы — *Comment allez-vous?* или *Comment ça va?* (≈Как поживаете?), немцы — *Wie geht es?* (≈Как идут дела?), чехи — *Jak tavěc stoji?* (≈Как обстоят дела?) и т. д. Обращаясь так друг к другу, люди редко имеют в виду буквальный смысл этих оборотов. Как раз напротив: тот, кто буквально понимает эти вопросы и начинает педантично рассказывать, как идут у него дела, или перечислять новости, воспринимается окружающими как чудак, человек без юмора. Таков, например, Женька, герой рассказа писательницы В. Токаревой «Зануда»: он «все понимал буквально. Если он чихал и ему говорили *Будь здоров,* он отвечал: *Ладно.* Если его спрашивали: *Как дела?,* начинал подробно рассказывать, как его дела... Слово *здравствуйте* он понимал как обращение и понимал буквально: «будьте здоровы».

Иногда говорящие обыгрывают все эти стандартные вопросы. Вот диалог подростков, встретившихся в коридоре школы:

— *Ну, как ты?*
— *Двадцать семь.*
— *Что — двадцать семь?!*
— *А что — как?*

(Обыгрывается «бессмысленность», т. е. неориентированность ни на какой конкретный смысл, местоименного наречия *как* в вопросе *Ну, как ты*?).

Подобные вопросы и реплики имеют двойное значение: первое, буквальное, которое в общении редко делается важным для говорящих, и второе, которое и значением-то не назовешь: это скорее их назначение — эти обороты употребляются для установления контакта между людьми, для речевой «настройки», а совсем не для передачи какой-либо информации. Такую же роль играют некоторые шаблонные фразы о погоде и т. п., которые значимы не столько сами по себе, сколько как средство налаживания коммуникативной связи. А так как связь, социальный контакт — неотъемлемое свойство любого человеческого коллектива, то выходит, что и эта функция языка (ее называют фатической — от латинского *фатум* — 'изречение'), наряду с другими, очень существенна с точки зрения общественных отношений между людьми.

Подведем краткий итог.

При выяснении вопроса о том, каким целям служит язык, мы пришли к выводу, что язык нужен не просто человеку, индивиду, а социальному человеку, он необходим обществу людей. Он обслуживает две потребности: мыслить и общаться. Функции языка, которые удовлетворяют эти кардинальные человеческие потребности, являются социально наиболее важными.

МНОГООБРАЗНОЕ ЕДИНСТВО

Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла она замуж.

— По страсти,— отвечала старуха,— я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь.

А. С. Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург.

Выяснив, для чего человеку — общественному человеку — язык, естественно задать вопросы: а как же используется язык человеком, как он употребляется в обществе людей — всеми одинаково или каждым по-своему? Есть ли разница в этом отношении между жителем села и жителем города, молодым и старым, образованным и полуграмотным? Или же все пользуются одним и тем же языком, общими для всех словами и конструкциями?

Ну, о том, чтобы все люди использовали один язык да еще при этом одинаково, не может быть и речи. Всякий знает, что страна от страны, народ от народа отличается языком: русский говорит по-русски, англичанин — по-английски, житель Танзании — на суахили и т. д. Да и внутри одной страны могут существовать многочисленные народности, каждая из которых имеет свой язык.

Самый яркий пример — наше Отечество. Какую только речь ни услышишь на огромном пространстве от Белого моря до Охотского, от Карпат до Чукотки! Русскую, украинскую, литовскую, эстонскую, грузинскую, армянскую, осетинскую, азербайджанскую, казахскую, узбекскую, татарскую, мордовскую, башкирскую...— нет, перечислить все разнообразные языки и наречия, распространенные на территории нашей страны, трудно. Загляните в многотомный труд, написанный учеными Академии наук,— «Языки народов СССР»,— и убедитесь, что мы не перечислили и десятой доли всех этих языков.

Но в полноте такого перечисления и нет необходимости. Мы хотели лишь упомянуть языковое многообразие, которое и так для всех очевидно. Основное же внимание мы

уделим русскому языку: оказывается, что язык единой русской нации вовсе не един (как не едины и другие национальные языки, в особенности те, которыми пользуются многие миллионы людей). И не только по своим функциям, как мы только что в этом убедились (см. предыдущую главу), но и, так сказать, материально: по составу словаря, по правилам соединения слов во фразы, по нормам произношения, ударения, склонения, спряжения...

Эти различия обусловлены тем, что совокупность людей, говорящих по-русски, неоднородна в территориальном и социальном отношениях.

Один живет в вологодской деревне, а другой — в Москве. Один всю жизнь рыбачит, ходит на карбасах и сейнерах, а другой преподает квантовую механику в Ленинградском университете. Этот как родился, так никуда и не выезжал из родного села, пестуя землю и выращивая на ней хлеб, а тот исколесил всю страну в поисках железной руды или нефти...

Костромской колхозник и столичный профессор, архангельский лесоруб и воронежский садовод, известный писатель и никому неведомый метеоролог, токарь и машинистка, железнодорожник и врач, пастух и штурман дальнего плавания, мужчины и женщины, старики и подростки,— все это общество людей, говорящих на одном языке — русском.

И этот язык не может быть совершенно одинаковым у столь разных людей: в нем, в его средствах и правилах их использования отражаются все многообразные особенности людей — профессиональные, возрастные, различия по уровню образования и характеру воспитания, по той территории, на которой они живут.

Современные исследования показывают, как именно влияет территориальное и социальное дробление общества на дифференциацию языка. Факт такого влияния бесспорен; важно, однако, установить его природу в каждом конкретном случае. Чем подвижнее границы членения коллектива на слои и группы,— а это и характерно для современного общества,— тем сложнее выявить социально обусловленные особенности языка.

Начнем с наиболее очевидного и обратимся к тому, что в лингвистике принято называть территориальным дроблением языка.

Хиггинс. *По выговору нетрудно сразу отличить ирландца от йоркширца. Но я могу с точностью до шести миль определить место рождения любого англичанина.*

Б. Шоу. Пигмалион

Знаменитый исследователь русской народной речи, писатель и языковед-самоучка Владимир Иванович Даль писал более ста лет тому назад: «Кто не узнает, при первой речи, уральского казака по резкой скороговорке его; допца — по особенной примеси южнорусского говора; курянина — по мягкому окончанию третьего лица; воронежца — у которого нет среднего рода, а *платье, яйцо* и *седло* — *она* и *эта?*.. Кто не узнает сибиряка, между прочим, по одному вопросу: *чьих вы?* вместо: *как вы прозываетесь?;* ярославца, особенно ростовца, по приставке *де, ди* и по словцу *родимый;* новгородца, который говорит: *хлиба ниту, сина ниту, совсим бида...*».

В. И. Даль первый выделил три основных наречия, распространенных на европейской части России: северновеликорусское («велико» — в отличие от «малорусского», или «малороссийского», как раньше называли украинский язык) — окающее; южновеликорусское — говорящие на нем акают, произносят особенное *г* (лингвисты называют такое *г* фрикативным), и средневеликорусское, в котором есть черты и от первого (например, *г* взрывное), и от второго (аканье). На севере: *голова́*, а на юге: *γълава́* или *γалава́*, в Курской области *идеть, нясу*, а во Владимирской *идёт, нёсу*, и т. п.

Но ведь В. И. Даль писал о том, что было сто лет назад, скажет читатель. Ничего удивительного нет в таком речевом разнообразии, если учесть, что Россия почти сплошь была неграмотная, что темнота была и в прямом, и в переносном смысле: не было электричества, поезда только-только начинали ходить, почта доставлялась на лошадях, многие науки были еще в зачаточном состоянии, а на многие и намека не было. При отсутствии хороших средств связи и сообщения, при необразованности и темноте народа вполне естественно, что говор одних мест сильно отличался от говора других. Теперь-то ведь совсем иначе...

Да, действительно, теперь все иначе: всеобщая грамотность, доступность образования, кино и телевидение, скоростные поезда и самолеты, развитие наук и многое другое — это факторы, бесспорно влияющие на стирание речевых различий, подобных тем, о которых писал В. И. Даль.

И все же эти различия сохраняются и в наше время. Почему? Да потому, что язык изменяется гораздо медленнее, чем общество: за последние три четверти столетия в России произошли две буржуазные и одна социалистическая революции, отгремели четыре войны, две из которых — первая и вторая мировые войны — изменили не только наше общество, но и весь мир, создались и достигли расцвета целые отрасли знания и производства, планета не раз изумлялась успехам, достигнутым советскими людьми... А русский язык — в сущности тот же, каким писали Лев Толстой и Чехов.

Конечно, в нем, как и в обществе, произошли перемены; социальный по самой своей природе, язык, разумеется, не мог оставаться не затронутым всей этой массой изменений и новшеств. Но языковое обновление не эквивалентно сдвигам в области социальной действительности. И это вполне естественно: ведь устойчивость языка — одно из очень важных его достоинств, обеспечивающее взаимопонимание людей разных поколений, преемственность национальной культуры.

71884

Медленно изменяется не только язык литературный, общеупотребительный, но и местные говоры. Правда, темп эволюции говоров в наше время выше, чем темп перемен, происходящих в литературном языке. Это понятно: ведь говоры испытывают сейчас сильнейшее воздействие языка книг, печати, радио, телевидения. Недаром специфическая местная манера речи больше свойственна старшему поколению жителей современной деревни, а деревенская молодежь все активнее и со все более раннего возраста приобщается к литературному языку.

Но не следует забывать, что местные речевые особенности — закономерное и исторически неизбежное явление языкового развития. Многовековое территориальное, хозяйственное и культурное разобщение русского крестьянства (а если обратиться к истории других народов,— то и не только русского), разбросанность сел и деревень по громадной территории — вот причины обособления отдель-

www.ruslang.ru

БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

ных областей национального языка, которые лингвисты называют местными диалектами или говорами.

Крестьяне каждой местности имели свои привычки в хлебопашестве и уходе за скотом, свои обряды и традиции, даже особый склад души, характера — и свою речь, отличную от речи других мест. Все это составляло культуру в изначальном смысле этого слова. И человек, живший в определенной местности, не ведал, что где-то говорят иначе, что его речь может показаться кому-то странной и неправильной. А когда попадал в другие места — ехал в дальнюю деревню покупать лошадь или в город за «товаром»,— то убеждался в неединственности своей речевой манеры.

До революции жители разных губерний даже пародировали особенности речи друг друга: — *С Масквы, с пасада, с калашнава ряда,*— высмеивали северяне-«окальщики» москвичей за их акающий выговор. А эти тоже не оставались в долгу и дразнили окающих владимирцев так: — *Бологo* (т. е. благо, хорошо) *в Володимере, стокан испить — голова болит.*

Те и другие вместе подшучивали над «мягкой» речью рязанцев и тамбовцев: — *Ён ходить, гуляить, батькю паминаить.*

Специфические свойства речи всегда невольно привлекают к себе внимание слушателя, в особенности если слушатель — носитель одного диалекта, а говорящий — носитель другого, непохожего на первый. То же самое происходит при столкновении литературной манеры речи и диалектной или просторечной. «По-деревенски» говорящий человек может встречать ироническое или даже пренебрежительное отношение к себе среди горожан, в особенности среди тех, кто сам еще только начал переучиваться с деревенского говора на городской и осознавать диалектную речь как «некультурную», «неграмотную».

Но заслуживает ли эта речь пренебрежения или хотя бы насмешки? Ни в коей мере. Ведь это не только «таперича», «чаво», «ентот», «свежая пива» и подобные слова и выражения, которые так резко отличают местные говоры от общеупотребительного языка. Это и богатство, разнообразие и яркость диалектного словаря, емкость смысла многих слов, точность наименований, живая образность крестьянских выражений и оборотов.

Именно отсюда, из народной речи черпали выразительные средства лучшие русские писатели, именно этот источник питал и питает речь образованных слоев общества — литературную.

Пушкин говорил о необходимости для писателя обращаться «к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному». «Вникайте в прелесть простонародной речи,— учил начинающих писателей М. Горький.— Вы увидите тут поразительное богатство образов, меткость сравнений, простоту — чарующую силой, изумительную красоту определений. Вникайте в творчество народное — это здоро́во, как свежая вода ключей горных, подземных, сладких струй. Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, здоровой силы, которая создает образ двумя, тремя словами».

Кто не знает сейчас слов *колдобина, окладной дождь, пороша?* Когда-то они бытовали только в говорах. Писатели сделали их общим достоянием.

Немало диалектных слов ввел в литературное употребление И. С. Тургенев. В «Записках охотника» то и дело мелькают местные орловские слова и выражения с комментариями самого автора: *дощаник* — плоская лодка, сколоченная из старых барочных досок; *колдобина* — глубокое место, яма в пруду или реке; *сугибель* — крутой поворот в овраге; *бу́чило* — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не просыхает даже летом; *бирюк* — человек одинокий и угрюмый; *гляделки:* «я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки» (орловцы называют глаза *гляделками,* так же как рот *едалом*)».

Только за последние полвека в литературный обиход через художественные произведения или газетную публицистику попали такие выразительные слова, как *глухомань, новосел, баламут, ушанка, обеднять, морока, замшелый, отгул, показуха, умелец* и др.

А многие диалектные слова, знакомые нам по художественной литературе, еще не стали общеупотребительными, да, может, и не станут никогда: писатель мог использовать их для целей, обусловленных характером данного произведения, его стилистикой, эстетическими задачами.

Например, у Л. Толстого в «Казаках» читаем: «...дня два тому назад *прибегал* от полкового командира казак с *цыдулкой».* К каждому из выделенных слов Лев Нико-

лаевич сделал примечания: «*Прибегал* значит на казачьем наречьи «приезжал верхом» и «*Цыдулкой* называется циркуляр, рассылаемый по постам». В этой повести о казаках встречаются и другие местные, казачьи слова и выражения: *сидеть* — 'караулить', *лопнет* — 'выстрелит' и др.

Многочисленные — и какие меткие, выразительные! — обороты народной речи найдем мы у таких известных писателей XIX в., как Лесков, Мельников-Печерский, Г. Успенский, Решетников, а из наших современников — у В. Астафьева, В. Белова, Ф. Абрамова, Б. Можаева и многих других русских писателей. *Заточное место* — пустынное, глухое, *ослопная свеча* — толстая, похожая на *ослоп* — дубину, *сукнецо попрохóвее* — т. е. порыхлее, помягче, *обмогнуться после болезни* — это из книг Н. Лескова. *Лед-тощак* — т. е. тощий, тонкий: заяц, собака бегут — не проваливаются, а охотник ломает лед и в воду; *зачекотала сорока, скололись* — т. е. спутались — *собаки, грудок* — небольшой костер, *зазимок* — начало зимы...— эти слова и выражения встречаются на страницах замечательного советского писателя М. Пришвина.

То, для чего у горожан одно название, в говоре имеет десятки имен. В особенности разнообразны обозначения явлений природы. Вот, например, как называется в разных местах России снегопад с ветром: *бýтора, кутúха, кутéль, кутерня́, кутéрька, хуртá, хургá, кýжыль, кýжелица, фиюз, ря́нда, завирýха, путерьгá, пýтень, пургáн, сипýга, пульгá, нéпогодь, курá, кýрево, кургá, закурýха*...

Пешеходную дорожку, бегущую через луг, лес или просто протоптанную в снегу, одни называют *тропá, трóпка, тропúна, трóпица, трóпник*, другие,— *стегá, стёжка, стеговúна*, третьи — *узя́к*, четвертые — *стýпень, ступня́, стýпник, стопúнка*, пятые — *путёк, запýтник*, и т. д.

Такое многообразие названий — даже в пределах одной местности — вполне объяснимо: ведь называют эти слова то, с чем житель деревни сталкивается по многу раз в день. А сколько слов для обозначения хозяйственных построек, способов обработки земли, видов пастбищ, лугов, леса, как сложны отношения по смыслу между этими разнообразными обозначениями: ведь именуют они то, что жизненно крайне важно, поэтому точность наименования имеет первостепенное значение. Одна деревня от другой может отличаться не разными словами, а неодинаковостью смысла одних и тех же слов: в одном месте, например, *жито* — это

хлеб вообще, в другом так называют только яровые хлеба, в третьем — хлеб в зерне, в четвертом — хлеб на корню и т. д.

О богатстве и многообразии диалектного словаря мы говорим совсем не в укор словарю других языковых сфер, например лексике литературного языка. Важно подчеркнуть своеобразие этого богатства: необычайную детализацию конкретных наименований. Отвлеченные же, абстрактные понятия легче выражать на языке литературном, который имеет для этого средства не менее разнообразные, чем диалект,— средства для называния вещей.

Местные говоры как явление лингвистическое имеют определенные качественные отличия от речи городской, от языка, на котором пишут книги, «вещают» по радио, т. е. от языка литературного.

Ученые, исследующие современные народные говоры, находят у них несколько специфических черт.

Это, во-первых, территориальная ограниченность. Говор распространен обычно на сравнительно небольшой территории. В Вологодской области говорят на *о,* а в Рязанской акают и смягчают глагольные окончания: *глядить, красють,*— чего вологодцы никогда не делают. В селах Белгородской и Липецкой областей говорят: *трывá, выдá* (но *травóй, в вадé* — все зависит от того, какой звук произносится под ударением), а в соседних с ними местностях этого не услышишь, зато услышишь другое: *бядá, нясля́* и т. д.

В повести И. А. Бунина «Деревня» мужики говорят: *это дело особая; вышла распоряжение; прямая сообщение; може, место какая выйдет* — и, если знать особенности русских говоров, по одной этой языковой черте можно угадать, что действие происходит в средней полосе России, южнее Москвы, где-нибудь в Воронежской, Тамбовской или Орловской губернии.

Во-вторых, говоры имеют только устную форму существования (почему и называются они говоры, от слова *говорить*).

На диалекте не пишут, на нем только говорят.

— А как же сказки? — спросите вы. Ведь все мы в детстве слушаем сказки не только тогда, когда их нам «сказывают» бабушки, но и когда их читают вслух мамы и папы, а едва научившись разбирать буквы — сами начинаем читать их.

А былины? Ведь автор их — народ. Но пойдите в библиотеку да попросите сборник былин — вам сейчас же большой том предложат: вот и письменная форма народной речи.

А пословицы и поговорки? А частушки? А народные песни?

Выходит, что не только устно существует говор, диалект?

Нет. Книги, в которых вы можете прочитать сказки, былины, пословицы, песни, частушки,— это з а п и с и того, что имеет (или когда-то имело) хождение в народе. Записи эти сделали не сами сочинители, а исследователи-фольклористы во время поездок и экспедиций по глухим деревням. Это о т р а ж е н и е — в букве, на бумаге — того, что по самой своей природе предназначено для слушания, а не для чтения, для передачи из уст в уста, а не для переписывания.

Да и сам язык былин, сказок, частушек — не совсем тот, каким крестьяне говорят друг с другом. А часто и совсем не тот. Так, в былинах сохранились древние языковые элементы (*орáтай* — т. е. пахарь, *дружина хоробрая, рáменье* — 'лес', *кушати, крестьяновати* и т. п.), в сказках подчас используются слова и обороты, неупотребительные в обычной крестьянской речи: *жил-был, в некоем царстве, в тридесятом государстве, путь-дороженька* и др.

Даже частушка — уж на что живой и «оперативный» жанр устного народного творчества,— и та отличается чисто языковым своеобразием:

Давай, д р о л я, помиримся,
Я бы помирилася,
Все бы старое забыла,
На чего сердилася.

Я з а л е т к у провожала,
Пролила я много слез,
На прощанье целовала
То его, то паровоз!

Словами *дроля* или *залетка* ни одна современная живущая в деревне девушка в обычной речи не назовет своего милого, а если и назовет, то это явится своего рода заимствованием из «частушечного» стиля и получит ироническую окраску.

В народно-поэтическом творчестве — как и в творчестве писателя — языковые средства выступают не только и не столько для сообщения чего-либо, сколько для выражения разного рода чувств рассказчика или певца, для создания у слушателя особого настроения, для того, чтобы нечто сказалось красиво и складно, как в обычной жизни не скажешь. «Язык фольклора — это диалект в его эстетической функции»,— писал известный советский исследователь народно-поэтического творчества П. Г. Богатырев.

Подобно тому как в основе языка художественной литературы лежит общеупотребительный литературный язык, в основе языка фольклора лежит диалект. Однако в отличие от литературного языка, который бытует как в устной, так и в письменной форме, диалект, звучащий на деревенской улице и в частушке, в бытовой речи и в диалоге героев сказки,— это формы устной речи.

Третья характерная черта говоров заключается в том, что они обслуживают сравнительно узкую сферу общения — отношения людей в семье, в кругу односельчан. Поехал человек в город, и речь его меняется, так как он старается подделываться под городскую речь, а если остается жить в городе, то не только подделывается, но и усваивает ее.

Да и не выезжая из родного села, житель деревни не всегда пользуется говором. Например, в школе и учителя, и ученики стремятся говорить не на диалекте, даже если и те, и другие родились и выросли в этой местности. Дело в том, что в школе обучают русскому литературному языку, но в речи и учителей, и особенно учеников встречаются диалектные элементы. То, что усвоено сызмальства в семье, что закреплено постоянным общением с близкими и родными, составляет очень стойкий языковой навык. И даже если человек переучился — начисто забыл родной говор, усвоил литературную речь, остатки прежних речевых навыков таятся в его мозгу и вдруг оживают при встрече с матерью, с односельчанином, в обстановке родной деревни и отцовского дома.

Это очень характерно с точки зрения функции диалекта: он оживает именно в тех ситуациях, для которых предназначен, и «молчит» в ситуациях, которым диалектная речь противопоказана.

Иногда в качестве отличия говора от общеупотребительного языка, от речи литературной называют отсутствие

нормы: говори как хочешь, никакие правила и регламентации тебя не ограничивают.

В самом деле: никто ведь не создает диалектные грамматики, предписывающие крестьянам говорить в строгом соответствии с их диалектом, никто не составляет словари «правильного» говора и диалектных «неправильностей».

Но вот что интересно.

Если вы, москвич или воронежец, приедете во владимирскую деревню, то вашу речь местные жители тут же отличат: «не по-нашему говорит», «не так», «неправильно». То же случится и с любым другим человеком, если он не из этих мест и, следовательно, речь его непохожа на оканье владимирцев.

Значит, в сознании говорящих на диалекте все-таки есть представление о том, *какая речь нормальна с их точки зрения*, привычна им, а какая отклоняется от их собственной и, таким образом, является для них необычной, «неправильной».

Каждый носитель диалекта, так же как и носитель общеупотребительного языка (есть у лингвистов такой не очень поэтичный, но — что делать? — необходимый термин: *носитель языка*), с детства усваивает систему родного диалекта. Усваивает и пользуется им естественно и без усилий. В процессе речи не надо задумываться над каждым словом и выражением. Все другие носители этого диалекта, с небольшими индивидуальными вариациями, владеют теми же средствами и правилами. Это и есть *норма говора*: то, как говорят, как *принято* говорить в данном диалектном коллективе.

Норма незаметна до тех пор, пока ее не нарушают. Но как только носитель говора слышит «чужую» речь — жителя других мест или литературную,— он, часто неосознанно, замечает отклонение ее от родной для него манеры говорить. Это и есть нарушение диалектной нормы, которая, бесспорно, существует. Но в отличие от нормы литературной диалектная норма не испытывает сознательных усилий людей, которые — как это происходит в литературном языке — стремятся усовершенствовать, отшлифовать речевые средства.

Главная задача литературной нормы — максимально разграничить языковые средства в соответствии с теми потребностями общения, которые постепенно возникают у человека в процессе его деятельности. А у диалектной

нормы ничего подобного нет: она не разграничивает средства в зависимости от цели и места сообщения, от стиля высказывания (стилистически диалект неизмеримо беднее, чем литературный язык), да и круг обслуживаемых диалектом сфер, как мы уже выяснили, узок.

Там, где литературная норма допускает гибкость выбора средств: для этой цели — одно, для другой — иное, в книжном стиле — высокое, в разговорном — что-нибудь «попроще» и т. д., диалектная норма дает просто набор средств: слов, конструкций. Можно использовать это слово, а можно и другое, третье: *тропка, тропица, тропина... кутель, кутерня, кутерьга... (метель)*. Можно сказать и *При людей это было* (собственно диалектная конструкция), и *При людях это было* (заимствование из «грамотной» речи), и *об ту пору* — и *в ту пору*, и *воду принесено* — и *вода принесена* и т. п.

Различиям этих слов и конструкций в форме не соответствуют никакие другие: в значении, в стилистической окраске или в условиях употребления. Но набор этих средств всегда определенен, и в этом (в частности) жесткость диалектной нормы: в одном и том же говоре не встречаются слова *навоз* и *назем*, *корец* и *ковш*, *боронить* и *волочить*, одни и те же носители диалекта не говорят *гусь* и *гусь*, *молоко* и *мылако*, *цай* и *чай*, *идётъ* и *идёт* и т. д.: эти слова и формы произношения принадлежат р а з н ы м диалектным системам (окают на севере, акают — в южнорусских говорах, *гусь* говорят в Калужской или Тамбовской областях, а *гусь* — в Вологодской или Владимирской и т. д.).

Впрочем, в наши дни могут говорить. Эта оговорка только кажется противоречащей тому, что сказано выше. Весь смысл ее — в словах «в наши дни». Специфические диалектные формы речи сдают свои позиции под натиском литературных. Поэтому временно в одном и том же говоре могут сосуществовать и собственно диалектные, и новые, заимствованные из литературного языка черты. Обычно, однако, те и другие неодинаково распределены среди носителей диалекта. Это зависит от возраста, пола и социального положения носителей диалекта.

Верные хранительницы диалектной речи — женщины, а из них — самые пожилые. Конечно, и их речь испытывает воздействие языка телевидения и радио, но все же и сейчас еще из уст пожилых жительниц какой-нибудь глухой

деревни можно услышать чистый народный говор без каких бы то ни было следов влияния речи городской.

Мужчины, в особенности молодые, не столь прочно привязанные к тому месту, где они родились, верны диалекту меньше. Черты собственного говора перемешаны у них с речью иных мест, и прежде всего с городской (не обязательно с «грамотной», литературной, но и — чаще — с просторечием) и успешно вытесняются ею.

Так происходит расслоение местного говора в зависимости от социальных и биологических различий его носителей.

По существу и раньше противопоставление языка деревни языку городскому было не только географическим, но и социальным: это было различие между языком крестьян и языком городских жителей — рабочих, интеллигенции, чиновников. «Традиционное деление диалектов на территориальные и социальные,— говорил в связи с этим акад. В. М. Жирмунский,— в сущности является мнимым, так как всякая территориальная диалектология в соответствии с самой языковой действительностью должна быть и диалектологией социальной».

Но в современном обществе к противопоставлению местных говоров как речи жителей деревни — различным формам речи жителей города прибавляется социальное дробление самого местного диалекта.

Современный территориальный говор не представляет собой однородного целого: это соединение нескольких речевых систем — от чистого диалекта (у пожилых людей) до более или менее сильных приближений к литературному языку или к городскому просторечию (у мужчин, особенно у молодежи).

Мы рассмотрели лишь часть языкового многообразия. Существование диалектов обусловлено территориальным дроблением общества и лишь отчасти — его социальной неоднородностью. Но есть и такие особенности языка, которые в бо́льшей степени определяются социальными различиями людей — их положением в обществе, родом занятий, уровнем образования и т. п.

— Вообще что означала вся эта петрушка?
— Накладка вышла,— пояснил Бомбардов.
— Что значит это слово?
— Накладкой на нашем языке называется всякая путаница, которая происходит на сцене. Актер вдруг в тексте ошибается, или занавес не вовремя закроют, или...
— Понял, понял...

М. Булгаков. Театральный роман

В 1836 г. русский критик Н. И. Надеждин писал: «У нас нет языка разговорного общего: у нас есть разговор мужика, разговор купца, разговор ученого, разговор подьячего, разговор военного, разговор степного помещика, разговор светского столичного человека... Одно и то же слово имеет совершенно разные, часто противоположные смыслы в этом вавилонском смешении разговоров...»

В эти годы зарождался единый литературный язык, у колыбели которого стоял Пушкин. Еще предстояли десятилетия упорной работы лучших писателей, публицистов, ораторов над формированием и совершенствованием этого языка, обогащением его сокровищами народной речи, заимствованиями из других языков. Еще впереди был процесс стилистической детализации литературного языка. Еще не родились многие из тех, кто в конце девятнадцатого века и дальше, в двадцатом, будут призывать учиться языку у народа и вводить в литературу подлинную, а не стилизованную народную речь, из тех, кто не сомневаясь поверит в возможность постепенного социального и духовного сближения «образованных» и мужиков, интеллигенции и народа, кто отдаст свои силы и жизни ради этого сближения...

Но вот перед нами рассказ А. П. Чехова «Новая дача». Он написан в 1899 г., т. е. спустя две трети столетия после сетований Н. И. Надеждина. Герои его — образованный барин, инженер Кучеров с женой и деревенские мужики. Живя бок о бок, на общей земле, они не понимают не только действий друг друга (крестьяне не могут взять в толк, для чего это под руководством инженера начали строить мост через реку, а инженер не в силах постичь логику их

поступков), но и — языка. То, что говорит Кучеров мужикам, понимается ими превратно, а иногда в противоположном смысле.

Инженер спрашивает крестьян, зачем они пускают скотину в его огород и сад, рубят деревья в лесу, перекопали дорогу. Он говорит: «— Вы же за добро платите нам злом. Вы несправедливы, братцы. Подумайте об этом. Убедительно прошу вас, подумайте. Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам тою же монетою».

Из всей его речи мужики уразумели только то, что надо платить: «— Платить надо. Платите, говорит, братцы, монетой...».

В другой раз, встретив крестьян, Кучеров говорит раздраженно, возмущенный бессмысленностью их поступков по отношению к нему и его семье: «Инженер остановил свой негодующий взгляд на Родионе [старом кузнеце] и продолжал: — Я и жена относились к вам, как к людям, как к равным, а вы? Э, да что говорить! Кончится, вероятно, тем, что мы будем презирать вас. Больше ничего не остается!..

Придя домой, Родион помолился, разулся и сел на лавку рядом с женой.

— Да...— начал он, отдохнув.— Идем сейчас, а барин Кучеров навстречу... Да... глядит на меня и говорит: я, говорит, с женой тебя призирать буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да оробел... Дай бог здоровья... Пошли им господи...

Степанида перекрестилась и вздохнула.

— Господа добрые, простоватые...— продолжал Родион.— «Призирать будем...» — при всех обещал. На старости лет и... оно бы ничего... Вечно бы за них бога молил... Пошли царица небесная...»

Глаголы *презирать* и *призирать* звучат одинаково. Но Родион не спутал эти глаголы, а у с л ы ш а л в речи инженера близкий ему, обремененному многодетной семьей, живущему в ужасающей нищете крестьянину, глагол *призирать* — т. е. окружать заботами, попечением (обычно бедных, обездоленных). Отвлеченно-книжное *презирать* просто неизвестно Родиону. Приняв же одно слово за другое, он истолковал гневную речь инженера в обратном, положительном смысле.

Как видим — полное непонимание. Случайность? Слишком забитые мужики или чересчур сложно выражаю-

щийся барин? Ни то, ни другое. Напротив, ситуация, описанная А. П. Чеховым, типична для дореволюционной России. Да и как могло быть иначе в условиях глубоких различий между этими двумя классами — дворянско-буржуазной интеллигенцией и крестьянством? Разобщенность социальных слоев во всем, что касалось материальной и духовной жизни, замкнутость существования каждого из них порождали и специфические черты в их языке, определяли разное понимание одних и тех же слов.

Это был главный, но не единственный контраст в русском языке. Различие между речью литературной и крестьянскими говорами в определенной мере сохраняется и в наше время. Но, кроме него, была раньше и есть сейчас неоднородность языка, которая определяется разделением людей, составляющих общество, на профессиональные, возрастные, «образовательные» группы и даже... на мужчин и женщин, мальчиков и девочек.

И эта неоднородность порой столь велика, что говорят о «языке охотников» и «языке моряков», «языке актеров» и «языке плотников», особом жаргоне школьников, женском и мужском вариантах языка и т. д.

Языки ли это в обычном смысле? Нет, конечно. Ведь у них нет своей грамматики (т. е. своих, отличных от общих, правил изменения слов и соединения их друг с другом), да и собственный, специфический словарь незначителен по объему. Но употребляя слово «язык» применительно к речи той или иной профессиональной, возрастной и т. п. группы, хотят подчеркнуть отличия этой речи от общеупотребительной, отличия, которые обусловлены социальной спецификой данной группы — тем, что это профессиональные моряки, или тем, что это школьники-подростки.

Профессия и речь

Гребу смело к пароходу. Вдруг оттуда голос: — Кто едет?
Ну, думаю, это береговой — флотский крикнул бы: кто гребет?

Б. Житков. Компас

Условимся называть сочетанием профессиональные «языки» (где слово «язык» — в кавычках) языковые особенности, которые связаны со спецификой профессий.

Если мы обратимся к любой специальной деятельности — к отрасли науки, к ремеслу, требующему знаний и навыков, то первое, что бросится в глаза, это особая терминология данной специальной сферы.

В токарном и слесарном деле встречаем слова *су́ппорт, стани́на, патро́н, кулачки́, ша́брить, центрова́ть, метчи́к, ле́рка, шаг резьбы́* и пр.; у физиков-ядерщиков — *протон, спин, нейтрино, мезоны, расщепление ядра, период полураспада;* у художников — *пленэр, грунтовать холст, натура;* у бухгалтеров — *дебет, кредит, фонды, провести по такой-то статье расходов* и т. п.

Чем более автономна профессия или специальность, чем более глубоких специальных знаний и навыков она требует, тем разветвленнее и сложнее ее терминология. И это вполне понятно: специальный предмет нуждается в специальном наименовании. Такое наименование и есть термин. От общеупотребительного слова он отличается тем, что термину приписывается строгое определение. Если неизвестно определение термина, то вы ни за что не догадаетесь, что́ он называет: что такое *линотип?* или *глубокая печать?* или *шпоны?* Без знакомства с соответствующими определениями, которые имеют эти полиграфические термины, трудно установить их содержание (о смысле общеупотребительного слова, если оно вам незнакомо, можно догадываться — по ассоциациям, по сходству с другими словами, по наличию в нем суффиксов с определенными значениями и т. д.).

Может быть и так, что в разных науках или отраслях техники употребляются одни и те же термины. Например, и в химии, и в лингвистике используется термин *синтез,* в физике и в медицине — *давление,* у космонавтов и у строителей метро — *стыковка.* Но это только кажется, что термины одни и те же: на самом деле они совпадают лишь по форме, а содержание у них различное. Да и в их употреблении, в сочетаемости с другими словами мало общего: *синтез белка* — и *синтез предложений, кровяное давление* — и *давление пара в котле, стыковка космических кораблей* — и *стыковка встречных тоннелей.*

Иногда специальные термины внешне совпадают с общеупотребительными словами. Это создает обманчивое впечатление «знакомости» терминов каждому. В кибернетике, например, говорят о *входе, выходе, адресе, программе, черном ящике, шуме,* но содержание

этих слов существенно отличается от их обыденных значений. Просто кибернетики заимствовали их из общего языка и «приспособили» для своих целей.

Бывает и обратное заимствование — из терминологии в общий язык. В современных условиях, когда бурно развиваются наука и техника, когда они оказывают воздействие буквально на все стороны жизни, использование специальных терминов в повседневной речи — обычное дело. При этом термины часто изменяют свое содержание, употребляются как метафоры: *вышел на орбиту славы, вирус равнодушия, духовный вакуум, настроился на шутливую волну, аккумулировать знания* и т. п.

Сравните:

А все же
Есть небесный купол —
Из радиации футляр!

(Л. Мартынов.)

Я сплю с окошками открытыми,
А где-то свищет звездопад,
И небоскребы
сталактитами
На брюхе глобуса висят.

(А. Вознесенский.)

Конечно, это — поэзия, а ведь известно, как склонны поэты к образному мышлению и ярким сравнениям. Но и в обыденной речи специальные термины употребляются широко, и мало кто замечает их былую узкую профессиональность.— *Дай мне свои координаты,*— говорит молодой человек девушке, и та́ сообщает свой телефон.— Не доклад, *а протоплазма,*— говорит один студент другому по поводу услышанного научного сообщения.

Термины, официально принятые и обязательные в отрасли науки, в технике, в каком-нибудь ремесле,— лишь одна, правда самая существенная, часть профессиональных «языков». Кроме них, каждой более или менее самостоятельной специальной сфере свойственно своеобразное использование слов и оборотов общеупотребительного языка.

Внимательно прочитайте рассказ Корнея Чуковского о том, как он и Житков оказались в бушующем море на утлой лодчонке, как ветер погнал их лодку на волнорез, и Житков «с изумительным присутствием духа прыгнул с

лодки на мол, на его покатую, мокрую, скользкую стену и вскарабкался на самый гребень. Оттуда он закричал мне:

— *Конец!*

«Конец» — по-морскому канат. Житков требовал, чтобы я кинул ему веревку, что лежала свернутой в кольцо на носу, но так как в морском лексиконе я был еще очень нетверд, я понял слово «конец» в его общем значении и завопил от предсмертной тоски...» (К. Чуковский. Современники).

Вместе с точностью наименования, которая выражается в терминах, профессиональной речи — главным образом устной — свойственно сочетание образности и выразительной краткости оборотов. Некоторые из этих оборотов в иной форме называют то, что имеет официальное терминологическое обозначение, другие — то, что можно выразить и средствами общеупотребительного языка, но более вяло или же длинно.

Например, в устно-профессиональном обиходе медиков есть слово *свеча*. Оно обозначает резкое изменение кривой на графике температуры: скажем, температура у больного была 36,9—37,2—37,4—37,1 и вдруг — 39,8! А затем снова упала до 36,9. Вот этот всплеск и есть свеча. Выражения *острый живот, тяжелый живот* обозначают у врачей разные степени заболевания кишечника. Ср.: «Диспетчер передал: — На плавбазе — больной. Они вызвали спасатель «Бесстрашный», просят принять парня на берегу.— Диагноз? — спросил Юсупов, словно разговаривал с коллегой.— *Тяжелый живот*,— ответил диспетчер, вполне владея жаргоном медиков» («Комсомольская правда», 1974, 22 сент.).

У железнодорожников в ходу выражения *сломать график* (нежелезнодорожник сказал бы *сознательно нарушить график*, и это было бы не вполне точной заменой), *выбиться из расписания, вытолкнуть поезд на главный путь, выдернуть его с главного пути и кинуть на запасный.*

Моряки называют *дедом* совсем не того, кто старше других на судне по возрасту, а — старшего механика; капитан у них обычно — *кеп*, моторист — *мотыль*, кок — *кандей*, а общежитие — *общага*. Тех же, кто с берега обслуживает отходящее в море судно, они несколько пренебрежительно именуют *берегашами*.

Не отстают от моряков и летчики — у них тоже немало специфических слов и оборотов: учебный самолет они называют *божьей коровкой*, низ фюзеляжа — *брюхом*, посто-

ронний предмет, попавший в мотор,— *жильцом*... Если самолет увлекается вверх силой воздушного потока, то он *вспухает*, если его нос резко опускается вниз, то самолет *клюет*. Каждый, кто хоть немного знаком с летным делом, слышал о разнообразных фигурах высшего пилотажа, для называния которых использованы метафорически переосмысленные слова общего языка: *бочка, горка* и под.[1].

Словом, каждая профессия имеет своеобразные средства выражения, известные людям только этой профессии и не употребляющиеся за ее пределами, причем это не только слова-обозначения специальных вещей и действий (т. е. термины), но и разнообразные способы речи, выработанные людьми общей профессии и служащие им в качестве своего языка, а точнее — своего профессионального жаргона.

Социальные жаргоны

Знаете ли вы, что такое школьный жаргон? Это когда вместо того, чтобы сказать «превосходно» или «отлично», вы говорите «железно» или «потрясно». Когда вместо «мы смеялись» говорят «мы оборжались» или вместо «три рубля» — «три ре». «Катить баллон» — что это, по-вашему, значит? Ухаживать, как это ни странно. Ну, и так далее.

В. Каверин. Школьный спектакль

Жаргоны бывают не только профессиональные. Условия для их возникновения коренятся в социальной обособленности, характеризующей деятельность той или иной об-

[1] Заметим, что подобные метафорически-образные обозначения существуют и в других языках. Так, например, немецкие моряки называют капитана *de Olle* ('старик'), повара — *Doctor* ('доктор'), а вся команда называется *гостями*. Французский солдат (в годы первой мировой войны) называл снаряд крупного калибра *marmite* ('сковородка'), штык — *cure-dent* ('зубочистка') или *fourchette* ('вилка'), пулемет — *tacót* ('пищущая машинка') и т. п. (см. об этом подробнее: Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936, с. 114—118).

Сравните с этим современный американский военный сленг: *вебра* означает в нем сержанта, *винд мил* — 'вертолет' (буквально: ветряная мельница), словом *чикен* называют полковника (*чикен* по-английски — курица, цыпленок; сначала в насмешку стали называть *чикеном* орла на погонах полковника, а затем и его самого), *фиш* — это торпеда (буквально *фиш* — 'рыба') и т. п.

щественной группы. Эта деятельность может быть связана как с профессией, так и с определенным образом жизни, социальным положением. Чем больше социальная обособленность группы или класса, тем благоприятнее условия для формирования особого языка, отличного от языка общеупотребительного.

Одним из наиболее ярких примеров такого языкового обособления может быть речь русского дворянства первой половины XIX в. Дворяне в своем кругу использовали французский язык, который был не только символом образованности и хорошего тона, но и средством общения, недоступным слугам и крестьянам. Хотя обучение французскому языку в дворянских семьях велось с детства, не все овладевали им в совершенстве. Кроме того, всегда давало себя знать отсутствие «природной» французской языковой среды и, напротив, постоянное влияние среды русскоязычной. В результате французский в иных дворянских семьях оказывался весьма далек от языка парижан: в нем смешивались русские слова и французский синтаксис и т. д. Его роль сводилась в основном к роли сословного жаргона, понятного сравнительно узкому кругу людей одного класса.

В романе «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» русский писатель начала XIX в. В. Т. Нарежный высмеивает этот уродливый жаргон: «Вместо того, чтобы сказать, как и было прежде: Матушка, мне пора накрывать на стол? уже батюшка пришел с гумна», она говорила: «Ma chère maman! Я имею думать, что уже время ставить на стол куверты на пять персон; mon chèr papa изволил возвратиться из вояжа, во время которого изволил он осмотреть хозяйственные заведения касательно хлебопашества».

Л. Н. Толстой в реалистической, а не пародийной манере изобразил подобную смесь «французского с нижегородским» в гениальной эпопее «Война и мир»: «...князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, побывавшие год в России:

— В Moscou есть одна барыня, une dame. И она очень скупа. Ей нужно было иметь два valets de pied [лакея] за карета. И очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела une femme de chambre [девушка], еще больший росту. Она сказала...»

В возникновении социальных жаргонов чрезвычайно важно следующее обстоятельство: если деятельность груп-

пы людей такова, что ее надо скрывать или защищать от общества, то разработка своего языка, непонятного чужим, диктуется жизненной необходимостью. Так, в прошлом возникли нищенский и воровской жаргоны, арго (жаргон) карточных шулеров — не только в России, но и во многих странах мира. В специфических русских условиях — особые «языки» были у ремесленников: шерстобитов, шаповалов, портных и офеней, или коробейников (торговцев мелким товаром, которые кочевали из деревни в деревню).

Случалось, что на коробейников нападали, отбирали у них товар и деньги, их деятельность иногда преследовалась властями, крестьяне, подозревая обман и жульничество со стороны бойких офеней, порой тоже косо поглядывали на них. Поэтому коробейники вынуждены были всячески скрывать свои намерения и действия от посторонних, доверяясь лишь друг другу и поддерживая тесные связи только между собой. Отсюда и особое арго, непонятное окружающим: *дом* по-офенски — *рым*, *молоко* — *мéлех*, *деньги* — *сáры*, *говорил* — *зéтил*, *строить* — *масты́рить*, *товар* — *шивáр* и т. д.

Давно уже канула в небытие профессия коробейников. Забыт офенский «язык». Да и другие социальные жаргоны — нищенский, картежников — отмерли. Сохранились лишь элементы этих жаргонов, вошедшие в разные сферы языка, в том числе и в общее употребление, например слова *жулик*, *липа* ('фальшивка'), *заколодило*, *шустрый*, *двурушник* (в жаргоне: 'нищий, собирающий милостыню обеими руками') и т. п.

Исчезновение многих жаргонов обусловлено изменениями социальных условий, определявшими в прошлом возникновение и существование их. Раньше — контрастное расслоение общества, изолированная жизнь классов, социальных слоев и групп. Теперь, напротив,— размытость границ между классами, не только взаимопроникновение групп, разных по своему общественному статусу, профессиям, уровню образования их членов и т. д., но и просто регулярное общение людей, принадлежащих к социально различным общностям. Поэтому и социальное разделение языка в современных условиях не является строгим. Но все еще сохраняются некоторые общие черты во владении жаргоном и общеупотребительным языком. Человек, использующий тот или иной групповой жаргон, как правило,

«двуязычен»: в ситуациях, связанных с применением профессиональных знаний и навыков, или при общении со «своими» он использует профессиональный «язык» или специальный жаргон, а в других случаях — обычную речь.

Важно, однако, отметить одну характерную особенность современного языкового развития: сфера употребления жаргонов постоянно сужается, а сфера общего для всех языка становится шире.

В этом сказывается действие социальных причин. Ведь большинство жаргонов возникло в условиях кустарного производства (профессионально-технические арго) социальной отверженности (блатное и нищенское арго), или обособленности («языки» бродячих торговцев). Недаром возникновение арготических слов в каком-либо ремесле филологи связывают с «вторжением случайности» в производственный процесс, с браком, неполадками и т. п. Поэтому больше всего арготизмы свойственны технически отсталым профессиям, связанным с применением ручного труда. Но развитие общества идет в направлении совершенствования производства. В общественных отношениях между людьми исчезают отчужденность или враждебная обособленность групп. Все это способствует исчезновению старых профессиональных и социальных жаргонов. Все аномальное, специфичное, особое с т и р а е т с я под влиянием литературного языка.

— Так что же,— спросит читатель,— происходит нивелировка? Место индивидуального, особого и поэтому в какой-то степени выразительного занимает стандартизованная речь — общая для всех профессий, сословий и групп?

Так ли это на самом деле? Конечно, не так.

Во-первых, литературный язык, оказывающий столь сильное влияние на разного рода диалекты и жаргоны, сам не остается неизменным, он вбирает в себя, впитывает все ценное и выразительное, принадлежащее другим языковым сферам. Часть функций, которые раньше выполняли жаргоны, литературный язык берет на себя, а для этого ему, естественно, нужны средства. Кроме того, собственные функции литературного языка непрерывно усложняются: потребности общества в целом и отдельных людей растут, расслаиваются, обновляются — и в зависимости от этого расслаиваются и обновляются выразительные средства языка, так что утрачиваемое — диалекты, жаргоны — вос-

полняется в новом качестве, в более совершенных формах, как это и должно быть во всяком развитии.

Во-вторых, как уже говорилось в предыдущей главе, изменение языка происходит медленно — темпы его несоизмеримы с темпами изменений социальных. Поэтому, говоря, что диалекты и жаргоны исчезают под влиянием цивилизации и ее орудия — литературного языка, мы имеем в виду тенденцию к исчезновению. Так будет в конце концов. Но на современном этапе развития в разных языках, в том числе и в русском, остаются следы социального расслоения. В структуре современного общества есть условия для появления и существования групповых «языков». Это не противоречит тому, что сказано раньше о выравнивании структуры общества: исчезают отчужденность, обособленность групп, но дифференциация общества на слои и группы, разумеется, остается.

Два этих фактора — «наследие прошлого» и условия для социальной неоднородности языка в настоящем — определяют разные виды расслоения современных языков.

Так, например, в некоторых обществах различаются мужская и женская формы языка. В языке индейцев яна, которые живут в северной Калифорнии (США), одни и те же предметы и явления называются по-разному, в зависимости от того, кто о них говорит — мужчина или женщина. Например:

Смысл	Как выражается в языке мужчин	Как выражается в языке женщин
'огонь'	*'auna*	*'auh*
'мой огонь'	*'aunija*	*'au' nich'*
'олень'	*bana*	*ba'*
'медведь'	*t'en'na*	*t'et'*

В лураветланском языке, по свидетельству исследователя этого языка В. Г. Богораза, существует «особое женское произношение. Женщины в отличие от мужчин произносят вместо *ч* и *р* только *ц*, в особенности после мягких согласных».

В Японии девушки владеют богатым и разнообразным в лексическом отношении языком (они специально этому

обучаются), в то время как для юношей характерен более бедный и ограниченный словарь. Язык женщин различается в зависимости от пола, возраста, социального положения собеседника. В письменной форме этот «женский язык» имеет ряд синтаксических особенностей и специфичные выражения, не встречающиеся в языке мужчин.

В языке некоторых народностей на Малых Антильских островах — два словаря: один используется мужчинами (и женщинами, если они говорят с мужчинами), а второй — женщинами, если они говорят между собой.

Негритянские женщины в Америке более чувствительны к правильности и неправильности языка, чем мужчины, особенно в ситуациях, требующих повышенного внимания к собственной речи. В этих случаях они употребляют меньше «непринятых» форм, чем мужчины, и более восприимчивы к так называемым «престижным» языковым моделям — т. е. тем, которые распространены в культурной среде.

Отмечая подобные различия в языках, исследователи справедливо считают, что в большинстве случаев они характерны для обществ, в которых издавна проводится социальное разделение людей по полу. Положение мужчин и женщин в этих обществах резко различно, и расхождения в языке — естественное следствие этого социального неравенства. Однако даже и при этом условии сильные различия в языке между полами редки: речевое общение мужчин и женщин столь постоянно и интенсивно, что значительное своеобразие не может долго удерживаться.

С другой стороны, э л е м е н т ы различий языка в зависимости от пола говорящих есть и в цивилизованных обществах, в частности даже в тех, где нет конституционного и всякого иного неравенства мужчины и женщины. Например, в современном русском обществе мужчины и женщины по-разному приветствуют друг друга: мужчины, в особенности молодые и хорошо знакомые друг с другом, могут употреблять наряду с формами *здравствуй(те), добрый день, привет* и др. и форму *здоро́во,* которая женщинам мало свойственна. Обращения также более разнообразны у мужчин:

— Садитесь, *мамаша!* (Есть еще одно употребление этого слова: его использует врач, или медсестра, или воспитательница детского сада, обращаясь к матери ребенка. Но это — другое.)

— *Друг*, дай книгу.

— Спокойно, *папаша!* (говорит в фильме «Берегись автомобиля!» Деточкин-Смоктуновский).

Такие фразы, содержащие формы обращения *мамаша, друг, папаша* (по отношению к незнакомому человеку), чаще произносят мужчины молодого и среднего возраста. В речи женщин подобные обращения почти не встречаются. Напротив, обращения *детка* (по отношению к ребенку), *милочка* и некоторые другие чаще употребляют женщины.

Вообще языковые различия между мужчинами и женщинами выражаются прежде всего в «этикетных» и ритуальных речевых ситуациях: в формах приветствий, прощания, благодарности, извинения и т. п. В других случаях, т. е. в обычной речи, эти различия носят скорее количественный, чем качественный характер: таких-то элементов в речи мужчин больше, а таких-то меньше, нежели в речи женщин, и наоборот. По некоторым наблюдениям, например, употребление оценочных слов *ужас!, противный* (≈'неприятный') свойственно главным образом женщинам. «Никогда не скажу — *противный: противный мальчишка, противная погода*»,— говорил известный лингвист В. Н. Сидоров.

В основном же набор единиц языка (слов, морфем, конструкций) — общий и у мужчин, и у женщин. Одинаковы и правила использования этих единиц в подавляющем большинстве речевых ситуаций.

Приведем еще один пример социального расслоения современных языков. Во многих обществах издавна существуют школьные и студенческие жаргоны. В России XIX в. был еще бурсацкий жаргон. В замечательном произведении известного русского писателя-разночинца Н. Г. Помяловского «Очерки бурсы» приведены многочисленные образчики этого жаргона, который в силу особенностей, характеризовавших жизнь в бурсе (школе, которая совмещала в себе тупую зубрежку и палочную дисциплину), изобиловал словами и выражениями вроде *сбондили, сляпсили, сперли, стибрили, объегорили, дать в рождество* ('ударить по лицу'), *жучить* ('строго взыскивать') и т. п.

Условия для сохранения и развития «молодежных» жаргонов есть и сейчас. Это связано с тем, что школьники и студенты образуют достаточно обособленные группы. Кроме того, некоторые психологические свойства людей молодого возраста — тяга к необычному, новому, стремле-

ние противопоставить себя взрослым — проявляются и в языке, в речевом поведении подростков, молодежи. Подчеркнутое утверждение своего «я» в этом мире может рождать у подростка намеренную грубость в речи, особое щеголеватое произношение (одни слоги растягиваются, а другие, напротив, почти совсем «съедаются»), употребление в их кругу (и нигде больше!) специфических слов.

Лев Кассиль, автор многих любимых молодежью произведений, писал: «Замечал я, что иногда употребление грубых, жаргонных словечек вызывается скрытой застенчивостью, которая свойственна ребятам, из скромности чурающимся громких слов. И вот тогда, вместо того, чтобы сообщить, скажем, о дружной и успешной работе бригады, вам бросят: «Да, уж вкалывали на всю железку!»

Педагоги часто осуждают школьников за такую манеру речи, справедливо видя в ней искажение языка. Однако важно обратить внимание и на другую сторону: подросткам в употреблении языка свойственна и г р а, идущая еще из детства (помните сухарики-*кусарики* и лопатки-*копатки* из книги К. Чуковского «От двух до пяти»?). Подросток экспериментирует со словом, то намеренно искажая его, то переосмысливая, то вставляя в такие сочетания, в которых оно не употребляется. На этой игре и построено школьное арго. В нем нет, как писал выдающийся бельгийский лингвист XX в. Ж. Вандриес, «тирании правил». Поэтому говорящий на арго часто пользуется сокращениями, отсекает части слов, упрощает слова и целые сочетания, максимально используя все возможности, предоставляемые системой данного национального языка.

В бурсе, например, был распространен *«ши*-язык»: «„ши-чего, ни-цы, ший-ся, не бо-цы", то есть ничего не бойся... Слово делится на две половины, например: *роз-га,* к последней прибавляется *ши* и произносится она сначала, а к первой *цы* и произносится она после; выходит *ши-зга, ро-цы*» (Н. Г. П о м я л о в с к и й. Очерки бурсы).

С такими же искажениями языка мы встречаемся и в арго немецких, французских, английских подростков. Например, в Германии школьники, по свидетельству акад. В. М. Жирмунского, вставляют внутрь слова слоги *ду-, пи-, би-* и т. п., а сам такой прием называется у них *«би*-шпрахе» (т. е. *«би*-язык»).

Другая особенность школьного арго — сокращение собственных имен и фамилий и даже обычных оборотов речи.

Вот диалог между подростком Костей Рябцевым и преподавателем литературы, приведенный в повести советского писателя Н. Огнева «Дневник Кости Рябцева»:

«— Ну, *довам*,— сказал я на прощанье.

— Это как же понимать?

— *Доволен вами*, это вместо «спасибо». *Спасибо* это ведь — *спаси бог* и, значит,— религиозное.

— Ну, рано вы начали коверкать русский язык...»

Еще одна характерная черта — заимствование слов из жаргона преступного мира, из просторечия и либо прямое их использование, либо переосмысление.

Переосмысление слов, создание выразительных, ярких метафор — характернейшая особенность профессиональных и социальных «языков» — свойственна и молодежному жаргону. Русские школьники, например, издавна называют отметку «1» — *колом*, а «2» иногда именуют *гусем: схватил гуся* значит 'получил двойку'. Во французском школьном арго слово *jus* обозначает не сок, как в языке общепринятом, а... сочинение; такое переосмысление родилось из выражения *en méttre du jus* 'потеть над чем-либо'.

Любопытно, что молодежный жаргон о б н о в л я е т с я так же, как язык в целом, как другие его подсистемы. Это обновление заключается не только в смене одних жаргонных слов другими, но и в изменении «веса» каждого из способов образования жаргонизмов: в 20-е годы нашего столетия преобладали заимствования из арго преступного мира и сокращения (а какая масса сокращений была в общем употреблении!); теперь, в жаргоне 70-х годов, сокращения редки, зато очень сильна тенденция к заимствованию и переделке иноязычных, главным образом английских, слов: *герла́* — девушка (сравните англ. *girl*), *да́нсить* — танцевать (англ. *to dance*), *френд* — мальчик, «дружок» (ср. англ. *friend*).

В речи школьников есть такие слова и обороты, которые характеризуют ее не как особый жаргон, а скорее как определенную в о з р а с т н у ю разновидность языка.

— *Воображала, ставит из себя* не знаю кого! — восклицает тринадцатилетняя девочка по адресу поссорившейся с нею подруги.

— Мы вчера Нинку (знакомую) *доводили*,— сообщает один восьмиклассник другому.

Как правило, с возрастом подобные обороты исчезают из языка, заменяясь более «взрослыми». Сменяются и дру-

гие, собственно арготические средства: становясь студентом, бывший школьник знакомится с такими словами, как *зачетка, хвост* (несданный экзамен), *спихнуть сопромат* (сдать экзамен по сопротивлению материалов), *стипа* (стипендия) и под.

Однако для речи современной молодежи в целом н е х а р а к т е р н о жесткое деление на разновидности жаргона — в зависимости от возраста, социального положения, уровня образования. Школьник-старшеклассник, студент, ученик токаря на заводе — все они владеют примерно одним и тем же жаргонным словарем. Различие только в активизации разных частей этого словаря: у одних употребительнее одни группы лексики, у других — другие. Поэтому, например, если судить по современной художественной литературе, вчерашнего школьника от окончившего вуз инженера по языку отличить довольно трудно.

В романе Д. Гранина «После свадьбы» герои выражаются так: М о л о д о й р а б о ч и й: *Это я в порядке трепа, Двигай ты сама в кино, Поехал бы сам вместо Игоря, и кончики, Ну и сколопендра. Здорово ты ему выдал.* И н ж е н е р: *Танцует она — блеск!, Пойдет совсем другая житуха, Что у вас тут, шарашка какая-нибудь?, вкалывает* и т. п.

А в повестях Василия Аксенова те же (или похожие) выражения звучат в устах молодых врачей, ребят, только что окончивших школу, рабочих: *Они сетовали друг другу, что в Гагре «слабовато с кадрами», а если и есть, то все уже склеенные, и, как ни круги, а видно, придется ехать в Сочи, где — один малый говорил — этого добра навалом* (В. А к с е н о в. Перемена образа жизни).

Отношение к молодежному жаргону различно. Одни непримиримо враждебны к этому «обезьяньему языку», считают его чуть ли не главным злом для современной русской речи и призывают вести беспощадную войну с жаргоном. Другие, напротив, видят в нем динамизм, выразительность, яркость словесных образов, чего порой не хватает обыденному языку.

Кто же прав? Как и во многих других подобных случаях — ни те, ни другие. Истина, видимо, лежит посредине: нельзя жаргон искоренить декретом, но не стоит и особенно восхищаться им: выразительность его однобока, набор средств мал, а стремление одним словом выражать многие смыслы (*блеск!, дико, фирмóвый* вместо *хороший,*

прекрасный, замечательный, удивительный служат оценками самых разнообразных событий и явлений) претит даже элементарному языковому вкусу. «Страшно не то, что молодежь изобретает особый жаргон,— писала одна из корреспонденток К. Чуковского,— страшно, когда, кроме жаргона, у нее нет ничего за душой».

Свойства всякого жаргона таковы, что он может использоваться лишь в очень ограниченном числе случаев. Это верно и относительно современного молодежного жаргона: школьники, студенты, молодые рабочие употребляют его в своем кругу и притом в более или менее непринужденной обстановке. В других ситуациях, при общении со взрослыми и друг с другом, но в более официальных условиях представители молодого поколения, как правило, переключаются на общеупотребительный язык. В этом проявляется действие «закона ситуации», который диктует говорящему использовать разные средства в зависимости от таких факторов, как цель речевого акта, тип собеседника, отношения с ним (официальные — нейтральные — дружеские), тема разговора и т. п.

ЯЗЫК «ПРАВИЛЬНЫЙ» И «НЕПРАВИЛЬНЫЙ»

... суть всякого литературного языка в его стабильности, в его традиционности.

Л. В. Щерба

Из того, о чем мы говорили до сих пор, следует один несомненный вывод: язык неоднороден. Более того, он настолько многообразен, так заметно варьируется в зависимости от территории, от социальных различий между говорящими, даже в зависимости от их возраста и пола, что можно лишь удивляться, как же понимают друг друга члены одного общества, если их речь столь непохожа.

Средством, общим для всех, является литературный язык: он общепонятен, он независим (хотя, как мы увидим, относительно) от социального и территориального дробления общества.

Если говорить коротко, в какой-то степени обобщенно, литературный язык — это язык культуры. А если расшифровать понятие культуры, то надо указать, что литературным является язык каждой отрасли культуры, любого ее проявления: науки, книг, прессы, радио, театра. Бытовой язык культурных людей также литературен.

Критерии единства и общепонятности для всех членов данного общества — основные требования, предъявляемые к литературному языку. Этими свойствами не обладают местные диалекты, социальные и профессиональные жаргоны: они обслуживают интересы ограниченных групп, а в качестве орудия межгруппового общения не годятся. В этом мы можем легко убедиться на примере некоторых стран современной Африки: при сильном разнообразии наречий и диалектов в них нет единого литературного языка. Поэтому, например, развитие всех видов массовой коммуникации затруднено: на каком языке «вещать» по радио? какой диалект выбрать для печатания общих для всей страны газет?

Рассказывая о диалектах и жаргонах, мы пытались указать носителей каждой из этих разновидностей языка — ту или иную социальную и территориальную общность говорящих.

Носителями литературного языка до революции признавали лишь буржуазно-дворянскую интеллигенцию, и в этом отражался горький факт: крестьяне и рабочие не были достаточно образованны, часто не были даже элементарно грамотны. Крестьяне пользовались диалектами, а рабочие, ремесленники говорили на просторечии, с примесью профессиональных речевых элементов.

После Великой Октябрьской социалистической революции картина резко изменилась. Широкие слои рабочих и крестьян стали получать образование, начали приобщаться к культуре, а вместе с этим и к литературной речи. Круг носителей литературного языка значительно расширился: к интеллигенции прибавились передовые в культурном отношении слои пролетариата и крестьянства. Все это люди образованные, а социальная сущность литературного языка именно такова: это язык образованной части населения, тех, кто живет культурными интересами. Это язык интеллигенции не в профессиональном значении этого слова («лица с высшим образованием» или «люди умственного труда»), а в его качественном смысле, характеризующем внутренний, духовный мир человека: интеллигентом может быть и маститый академик, и токарь, и колхозный конюх.

Литературный язык хорошо приспособлен для самых разнообразных задач общения. При этом чем сложнее и глубже культура данного общества, тем более развит и

многогранен его литературный язык и тем медленнее темпы его изменения. Это и понятно: чем больше культурных ценностей накоплено на языке (рукописей, книг, магнитофонных записей и т. п.), тем сильнее действует тенденция сохранить эти ценности для последующих поколений.

Крупнейший советский лингвист Александр Матвеевич Пешковский, объясняя стабильность литературного языка, писал: «Если бы литературное наречие изменялось быстро, то каждое поколение могло бы пользоваться лишь литературой своей да предшествовавшего поколения, много двух. Но при таких условиях не было бы и самой литературы, так как литература всякого поколения создается всей предшествующей литературой. Если бы Чехов уже не понимал Пушкина, то, вероятно, не было бы и Чехова. Слишком тонкий слой почвы давал бы слишком слабое питание литературным росткам. Консерватизм литературного наречия, объединяя века и поколения, создает возможность единой мощной многовековой национальной литературы».

На страже целостности и общепонятности литературного языка стоит норма.

Норма

Нормой признается то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет.

А. М. Пешковский

Норма определяет, что правильно и что неправильно, она рекомендует одни языковые средства и способы выражения как «законные» и отвергает другие как противоречащие языковому обычаю, традиции.

Языковые нормы не придуманы кем-то (скажем, лингвистами), а объективно сложились в результате многовековой речевой практики людей. Нормы исторически изменчивы, но меняются они чрезвычайно медленно. В развитых литературных языках норма остается неизменной на протяжении сравнительно больших отрезков времени.

Литературные языки складываются на основе народной речи во всем ее многообразии. Они отбирают из языка народа наиболее ценный и выразительный материал: слова, конструкции, отдельные обороты. Роль такого от-

бора, творческой переработки фактов повседневной речи хорошо понимал еще В. И. Даль, который был горячим поборником живого народного слова. В статье, которую Владимир Иванович предпослал изданию своего словаря, замечательный собиратель слов писал: «... вовсе не утверждаю, будто вся народная речь, ни даже все слова речи этой должны быть внесены в образованный русский язык; я утверждаю только, что мы должны изучить простую и прямую русскую речь народа и усвоить ее себе, как все живое усвояет себе добрую пищу и претворяет ее в кровь и плоть».

Уже сформировавшись и представляя собой целостную, самостоятельную систему, литературный язык продолжает черпать выразительные средства из диалектов, просторечия, профессиональных языков. Норма играет в этом процессе роль фильтра: она пропускает в литературное употребление все ценное, что есть в живой речи, и задерживает все случайное и временное.

В разные эпохи языковая норма неодинакова. В пушкинские времена говорили *до́мы*, *ко́рпусы*, теперь — *дома́*, *корпуса́*; тогда была *музы́ка*, сейчас — *му́зыка*. В знаменитом пушкинском «Памятнике» мы читаем: ... *и не оспо́ривай глупца*, сейчас говорят только *не оспаривай*. Ф. М. Достоевский писал: *Тут щекотливый Ярослав Ильич ... взглядом устремился на Мурина* — из современных писателей, пожалуй, никто не употребит слово *щекотливый* применительно к человеку (обычно *щекотливый вопрос, щекотливое дело*). А. Н. Толстой (почти наш современник!) в одном из своих рассказов описывал действия героя, который стал *следить полет коршунов над лесом* (мы бы сказали *следить за полетом коршунов*).

Такая временна́я разность нормы — явление естественное: язык развивается, а вместе с ним развивается и норма. Но изменение литературной нормы происходит медленнее, чем изменение всего языка в целом: ведь она, как мы говорили, не берет все подряд из языкового потока, а отбирает только нужное и выразительное — с тем, чтобы, обогащая литературный язык новыми средствами, не помешать его общепонятности, не разрушить его единство.

Связанный с диалектами и просторечием, литературный язык в то же время не равен им, не растворяет их в себе, а лишь питается их соками, вбирая в себя все жи-

вое и прекрасное, что в них есть. Упраздните нормы, снимите ограничения — и вы лишите литературный язык его основной функции, культурной; потоки разнородного речевого материала немедленно хлынут в него.

Представьте себе невозможное: газеты начинают печататься не на едином русском языке, а на разных диалектах: в Вологде — с особенностями северного говора, в Краснодаре — на кубанском диалекте, в Тбилиси — с чертами, обусловленными соседством грузинского языка. Эфир (радио и телевидение) также наполнен разнодиалектной речью. Книги пишутся по-псковски, по-рязански... Это, конечно, фантастическая картина, но она ярко показывает роль литературного языка в жизни общества, значение нормы в литературном языке.

Но не только в охранении целостности литературного языка, не только в тщательном отборе новых языковых средств заключены функции нормы. Это, так сказать, внешняя ее задача. А кроме того, есть и не менее важные внутренние.

Лингвисты справедливо подчеркивают, что литературный язык — организованная система: все средства в нем разграничены в соответствии с потребностями общения. Норма и служит регулятором этой дифференциации. Она не допускает в литературное употребление полностью дублетных единиц, т. е. таких, которые не различаются ничем, кроме формы. Если в литературном языке встречаются такие дублеты, то они — следствие развития языка: в них отражается сосуществование традиционной, старой — и новой, зарождающейся норм. Например, старые москвичи еще иногда говорят *горькый, тихый, смеялса, шыги, жыра*, а большинство носителей литературного языка предпочитают новые формы произношения: *горький, тихий, смеялся, шаги, жара*. Различаются по стажу употребления в литературном языке и такие пары, как *прожéкторы* и *прожекторá, трáкторы* и *тракторá, гаснул* и *гас, каплет* и *капает, в Быкове* и *в Быково* и т. п.: все левые члены этих пар отражают традиционную норму, все правые появились позднее.

Норма, как сказано выше, стремится избавиться от таких дублетных средств: одни из подобных пар начинают различаться по смыслу или стилистически (мы говорим *учителя школы*, но *великие учители человечества, рупоры радио* и *рупора радио*, но только

р у п о р ы идей и пр.); в других более употребительной становится одна форма, а вторая уходит на периферию языка: все сейчас говорят и пишут *дотрагиваться, приспосабливать,* а глаголы *дотрогиваться, приспособливать* можно встретить лишь в литературе XVIII—XIX вв.

Тенденция к функциональному разграничению средств действует в литературном языке постоянно — и постоянно в нем есть еще не разграниченные, дублетные единицы, только состав их меняется: то, что было новым и вытесняло традиционные формы речи столетие назад, теперь в свою очередь отражает традицию и вытесняется новым. В этом — свойственное языку диалектическое противоречие: норма стремится закрепить что-то одно, сделать средства выражения стабильными, а живая речь, без которой развитие нормального языка просто невозможно, все время «поставляет» новые и новые ресурсы. Это противоречие — пружина существования и развития литературного языка: непрерывно разрешаясь на материале конкретных вариантов ударения, произношения, употребления слов и т. п., оно способствует пополнению выразительных средств языка, удовлетворяя нужды во все более тонкой дифференциации передаваемого языком содержания.

Конкуренция старых и новых форм речи, традиционного и свежего протекает подчас очень остро, и не только в самом языке, но и среди говорящих: одни горячо отстаивают привычные, всеми употребляемые слова и возмущаются нелепыми (как им кажется) новшествами, другие обосновывают естественность и неизбежность обновления языка, защищают наиболее удачные, благозвучные (также с их точки зрения) неологизмы.

Одна из особенностей литературной нормы (в отличие, например, от нормы диалектной) — ее гибкость, ее зависимость от условий, в которых осуществляется речь. Лингвисты называют это свойство нормы к о м м у н и к а т и в н о й ц е л е с о о б р а з н о с т ь ю.

Коротко это свойство можно охарактеризовать следующим образом. Норма не делит средства языка на хорошие и плохие, не предписывает: первые надлежит употреблять всегда, а вторые — не употреблять никогда. Само деление на «правильное» и «неправильное» в языке условно: «...объективных критериев для суждения о том, что «правильно» и что «неправильно», нет... в языке «все течет», так что то, что вчера было «правильным», сегодня мо-

жет оказаться «неправильным» и наоборот»,— писал в первой четверти XX в. А. М. Пешковский; «...сами понятия аномального, правильного или неясного весьма условны. Для любого явно аномального выражения можно придумать ситуацию, которая превратит его во вполне нормальное»,— отмечает лингвист наших дней В. А. Звегинцев.

В речи литературно говорящих людей возможны сознательные отступления от принятой нормы, «языковая игра». Этим человек обращает внимание на предмет речи, или передает свое отношение к нему, или обнаруживает перед слушателем свое эмоциональное состояние и т. д. Если отступление от нормы оправдано какой-либо из подобных целей, то это не ошибка, а речевой прием, свидетельствующий о свободе, с которой говорящий обращается с языком, о языковом чутье и вкусе. (Ошибка возникает в случае неосознанного, автоматического употребления неправильной формы или слова.)

В «Отцах и детях» И. С. Тургенева Базаров в споре с Павлом Петровичем Кирсановым спрашивает:

«— ...Но что вы *этим* хотите доказать?»

И слышит ответ:

«— Я *эфтим* хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: *эфтим* и *эфто,* хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни — *эфто*, другие — *эхто*: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебречь школьными правилами), я *эфтим* хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе ... нет никакого прочного основания общественному зданию».

Литературная норма разграничивает средства языка, грубо говоря, на подходящие для данной цели и неподходящие. Потребности общения настолько сложны и многообразны, что для каждой из них нужны свои слова и конструкции, которые лучше других выполняют данную функцию. Поэтому литературный язык — это не просто набор хороших, правильных, годных для любого случая средств, а сложнейшая система словесных и конструктивных единиц, которые градуированы по различным шкалам: смысловой, стилистической, ситуативной.

Смысловая шкала предусматривает все виды отношений между значениями слов — от омонимии, когда два слова не имеют ничего общего, кроме формы *(косить косой* — и *заплетать косу, засаливать огурцы* — и *засаливать рукава)*, до синонимии, когда у слов, напротив, тождественны значения, а форма различна *(встречать враждебно — встречать в штыки; фундамент теории — основание теории)*.

Стилистическая шкала содержит указание на окраску слова в зависимости, во-первых, от его стилистических свойств (высокое, нейтральное, сниженное) и, во-вторых, от сферы его употребления: научный термин, канцелярский оборот, техническое выражние и т. д. Стилистические пометы обычны в толковых словарях, в справочниках по стилистике, в учебниках языка.

Загляните в одну из таких книг, например в словарь. Вы увидите там пометы: *«разг.», «высок.», «техн.», «проф.»* и под., которые стоят возле многих слов. Так, слова *гуртом, норовить, насмарку, ныгик, мастак, миндальничать, миловаться, куражиться, встряска, огорошить, глазастый* снабжены пометой «разг.» — т. е. разговорное. Слова *хаять, обалдеть, рожа, хиляк, хватить* (стулом об пол), *распатронить, лохмы, канючить, трудяга, шмякнуться* — пометой «прост.», т. е. просторечное.

С другой стороны, слова *година, грядущий, карать, свершиться, воссиять, восславить, встарь* характеризуются как торжественные, высокие (помета «высок.»), *воспрянуть, глупец, камарилья, коллега, комфорт, компонент, дифференцировать, единовластие* — как книжные.

Некоторые воспринимают словарные пометы как запретительные, считают их «дурным лексикографическим обычаем». Но это не так. Ведь пометы не придуманы лингвистами-лексикографами — они соответствуют реальному статусу слов в языке, их употреблению в речи. Никакого запрета, никакой хулы ни в словарных пометах «разг.» или «прост.», ни в каких-либо других не содержится: они лишь отражают объективно существующие в языке стилистические различия. Они помогают правильно использовать слово, согласуя его окраску с целями речи: высокое слово неуместно в бытовом разговоре, но вполне может подойти в торжественной речи. В научной статье как-то неудобно, ссылаясь на работы *NN*, называть его *мастаком* или *трудягой*, который *норовит распат-*

ронить своих оппонентов за их *болтовню,* но мы нисколько не удивимся, услышав те же самые слова в диалоге двух друзей.

«Языковым мусором кажутся слова,— говорит писатель Владимир Солоухин,— забредшие из одной языковой сферы в другую. Один химик остроумно заметил, что грязь — это химические вещества не на своем месте». Словарные пометы, пишет в связи с этим советский лингвист М. В. Панов, «указывают: где такое-то слово не «грязь», в какой речи оно жданный и прошеный гость, а в какой непрошенный. Если пометы нет — слово всюду, во всех видах литературного языка, прошеный гость».

Контекст и ситуация также подсказывают говорящему, какие слова выбирать. И хотя пока не создано ничего вроде «ситуативной грамматики», которая содержала бы правила выбора языковых средств в зависимости от типа ситуации,— в литературном языке и в сознании его носителей средства разграничены на «более подходящие» и «менее подходящие» к тем или иным условиям общения. В беседе друзей уместны и не режут слух фамильярные, грубоватые обороты речи, но никому и в голову не придет использовать подобные обороты в официальном разговоре, в объяснениях по телефону с малознакомым человеком (подробнее см. об этом в главе «Смотря по обстоятельствам»).

Краски слова и стили речи

...А она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать.

А. П. Чехов

Для изучения гидродинамики пленочной конденсации на вертикальных поверхностях в электрическом поле применены фото- и киносъемка с одновременным замером тепловых характеристик процесса конденсации.

Из статьи в научном журнале

Отказать ввиду отсутствия вышеозначенной тары.

Резолюция на заявлении

Посмотрите внимательно на приведенные отрывки. Они специально выбраны из таких далеких друг от друга жанров, как художественное произведение, научная

статья и резолюция. Эти отрывки контрастны — по использованным в них словам, по структуре фраз, по интонации.

Как мы уже говорили, существует стилистическая шкала, на которой можно разместить все средства языка. Она состоит из трех зон: высокий (или строгий) стиль, нейтральный и сниженный. Основным является нейтральный. Это своеобразная точка отсчета: не будь нейтрального стиля, нечему было бы противопоставлять, с одной стороны, слова высокие, а с другой — сниженные. Нейтральное наименование у какой-либо вещи или у понятия есть всегда (или почти всегда), а высокие, торжественные и, с другой стороны, сниженные стилистические соответствия менее регулярны. Михаилу Викторовичу Панову принадлежит формулировка следующей закономерности: «...слова окрашенных стилей должны иметь синоним в нейтральном стиле; слово нейтрального стиля может иметь синоним в окрашенном стиле».

И действительно, если изобразить отношения между высоким, нейтральным и сниженным стилями, то они будут выглядеть как таблица с не полностью занятыми клетками:

Высокий стиль	Нейтральный стиль	Сниженный стиль
почивать	*спать*	*дрыхнуть*
вкушать	*есть*	*жрать*
лик	*лицо*	*морда* (о человеке)
скончаться	*умереть*	*дать дуба, загнуться*
—	*лошадь*	*кляча*
—	*бить*	*лупить*
грядущий	*будущий*	—
внимать	*слушать*	—
—	*обмануть*	*надуть, объегорить*
—	*читать*	—
—	*глобус*	—

Помещая то или иное слово в один из трех столбцов, мы основываемся на его эмоциональном значении, или эмоциональной окраске: *почивать, вкушать, лик, скончаться, грядущий, внимать* — это сло-

ва с высоким эмоциональным значением; *дрыхнуть, жрать, морда, дать дуба, загнуться, кляча, лупить, надуть, объегорить* — слова со сниженным эмоциональным значением, а у слов *спать, есть, лицо, умереть, лошадь, бить, будущий, слушать, обмануть, читать, глобус* эмоциональное значение равно нулю (но это не простой нуль, а значимый: ведь он входит в систему эмоционально-стилистических противопоставлений).

Эмоциональное значение большинства окрашенных единиц состоит из двух компонентов — смыслового и стилистического. Традиционно ряды слов типа *очи — глаза — гляделки; лоб — чело* рассматривались как чисто стилистические синонимы. Но недавно исследователи языка обратили внимание на то, что стилистические различия этих слов являются производными от различий смысловых: ведь *очи* — это не всякие глаза, а красивые, а коли так, то *гляделками* их ни при каких условиях не назовешь; напротив, низкий или прыщавый лоб только в шутку можно назвать *челом*.

Эмоциональное значение присуще самому слову, независимо от конкретных условий его употребления. Больше того, оно, это значение, в известной мере определяет контексты и ситуации, в которых слово может быть употреблено.

Так, слова *оболтус, верзила, канючить, норовить* содержат такой эмоциональный компонент, который не позволяет использовать их в «положительном» контексте. Никто всерьез не скажет: *Посмотрите на этого привлекательного верзилу — какой он красивый и стройный.* Или: *Симпатичный оболтус норовил первым выполнить контрольную работу, а когда сдавал ее, то начинал весело канючить у преподавателя дополнительное задание.*

Равным образом слово, в значении которого содержится элемент эмоциональной возвышенности, неуместно в ситуации «приземленной», бытовой, в соседстве со словами, эмоциональная окраска которых контрастирует с эмоциональной окраской высокого слова. Только в шутку можно, например, сказать: *Здоровенный синячище воссиял на его челе* или: *На грядущей неделе мне надо бы сходить постричься.*

Писатели иногда намеренно совмещают в одном контексте, в одной фразе эмоционально разные слова и тем самым добиваются комического эффекта. Например, высокая

лексика нарочно вводится в сниженный текст, соседствует с бытовыми словами.

У М. Е. Салтыкова-Щедрина читаем: *Боткин свидетельствует, что у него в клинике один пациент-ревматик через четыре часа встал на ноги, взял о д р свой и пошел в дом свой.* У А. П. Чехова: *Желаю н а и п а ч е всего здравствовать и иметь хлеб насущный в достаточном для такого о б ж о р ы, как ты, количестве.* У И. Ильфа и Е. Петрова: *Светлый брильянтовый п о т о р о ш а л его жирное лицо.* Устарелое и высокое *одр* на фоне делового сообщения; *наипаче* — и *обжора, пот — орошал...*

Когда разностильные слова соединяются в предложения не намеренно (говорящий или пишущий считают такое соединение вполне нормальным), то возникают стилистические ошибки. В одной газетной заметке, например, сообщалось, что в таком-то колхозе строители досрочно *возвели коровник,* а другая газета в официальном тексте извещала своих читателей: *Вчера с к о н ч а л с я г л а в а р ь подпольной террористической организации...* Уж если *скончался*, то *глава* или *вождь*, а если *главарь*, то скорее всего надо было сказать нейтрально *умер.*

Эмоциональная окраска слова обусловливает его функционирование в речи: архаичные и поэтому высокие по своей окраске слова, а также сниженная лексика неупотребительны в научном сочинении, в деловом документе, официальном послании. Если известна эмоциональная окраска слова, то можно с большой вероятностью указать и языковую разновидность, в которой слово обычно употребляется. Но для этого нужно знать, что́ это за разновидности языка, чем обусловлено их выделение.

Как мы уже знаем, язык используется с разными целями, в различных функциях. Складывающиеся при таком употреблении языка отдельные его разновидности принято называть ф у н к ц и о н а л ь н ы м и с т и л я м и. Каждый из стилей характеризуется свойственными только ему стилистическими закономерностями в выборе, употреблении и сочетании языковых средств. Как писал выдающийся советский языковед акад. В. В. Виноградов, функциональный стиль — это «общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими та-

кими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа».

Как же выделяются функциональные стили речи? Критерием деления литературного языка на функциональные области, если говорить упрощенно, служит ответ на вопрос: для чего используется язык, для какой цели? Если мы ответим в данном случае: «Чтобы писать», а в другом — «Чтобы говорить», то получим дифференциацию языка на две большие, главные разновидности: книжно-письменную и устно-разговорную. (В действительности, правда, все не так просто: можно ведь записать диалог, отчего он не перестанет быть разговорной речью, и, наоборот, можно книжно говорить, например, вслух читать заранее написанный доклад. Другими словами, не все, что произносится, обладает стилистическими качествами устно-разговорной речи и не все изображенное на письме соответствует книжному стилю.)

Книжный язык — достижение и достояние культуры. Он основной хранитель и передатчик культурной информации. Все виды непрямого, не непосредственного (дистантного) общения осуществляются средствами книжного языка. Научные труды, художественную литературу, дипломатическую переписку, законодательство, делопроизводство, газетно-журнальную продукцию и многое другое невозможно себе представить без книжно-литературного языка. Функции его огромны и с развитием цивилизации еще более усложняются. А это настоятельно требует обновления выразительных средств, их шлифовки, все более тонкой их стилистической градации.

Современный русский книжно-литературный язык — это мощное орудие коммуникации, общения. В нем есть все средства, необходимые для разнообразных целей общения и прежде всего — для выражения абстрактных понятий и отношений. Сложные связи, прослеживаемые учеными и писателями в материальном и духовном мире, описываются научным языком, который, в сравнении с языком бытовым, труден, непонятен читателю-неспециалисту. Устная речевая традиция для этого не годится: невозможно передавать из уст в уста синтаксически громоздкие тексты. На письме же, в книге человек может позволить себе и довольно сложные построения: если адресат не поймет написанного с первого раза, он может вернуться к началу

текста, вчитаться в него еще раз. Это свойство книжно-письменной речи ученые отмечают как одно из самых важных. Главное же ее достоинство в том, что «письмо обеспечивает безупречную сохранность текстов, написанных сто и более лет назад; оно удлиняет время каждого текста (устная традиция постепенно меняет текст); тем самым оно усиливает способность литературного языка быть связью между поколениями» (М. В. Панов).

Если продолжить два данных выше ответа («чтобы писать» и «чтобы говорить») и указать в каждом случае: что и кому писать или говорить, с какой целью и т. д., то мы получим дальнейшее членение книжно-письменной и устно-разговорной разновидностей на функциональные стили.

В современной стилистике выделяются научный, официально-деловой, публицистический стили книжно-письменной речи.

Существенной приметой научного стиля является специальная терминология, большое количество отвлеченных по своим значениям слов (таких, как *явление, процесс, качество, совершаться, рассматривать, однородный, разнообразие, дифференцировать* и под.), сложный синтаксис, в котором преобладают конструкции, обеспечивающие логически безупречное построение текста. Некоторые сочетания слов употребляются здесь особенно часто и потому приобретают свойства оборотов-клише: *анализ данных показывает; рассмотреть проблему; на основании приведенных фактов; из сказанного следует* и т. п.

Элементы, из которых строится высказывание в официально-деловом стиле, иного рода: *вышеупомянутый, вменить в обязанность, принять меры в отношении Иванова, означенный, ввиду наличия затруднений* и под. Синтаксис деловых документов может быть также достаточно сложным, но природа этой сложности иная: ведь и предмет речи, и отношения между объектами здесь качественно иные, чем в области научной. Часто бывает необходимо указать связи и отношения между многочисленными объектами в пределах одного высказывания. Тогда появляются такие, например, длинные и запутанные (но при этом грамматически правильные) конструкции: *На ваше письмо от 14/I за номером П-467/12, подписанное зам. директора завода тов. ..., сообщаем, что детали ГОСТ 4296—43 машин типа МШ-352, с приложенными к ним эк-*

земплярами инструкций по эксплуатации указанных машин, отгружены в ваш адрес... заводом стальконструкций 23/XII 1971 в двух товарных вагонах № 134 000 247 и 845 772 024, о чем администрация завода известила руководство вашего предприятия телеграммой от того же числа.

Конструктивная сложность этого отрывка из деловой переписки двух предприятий кажется достаточно оправданной в этом жанре (подобная фраза выглядела бы уродом, скажем, в газетном очерке, а в повести или критической статье была бы вообще невозможна).

В других видах деловых документов сложность языка не диктуется необходимостью. Поэтому, например, в заявлении, справке, записи в трудовой книжке преобладают относительно простые конструктивные формы, которые являются устойчивыми клише, нормой для данного вида документа.

Публицистический стиль менее специфичен, чем научный и деловой, по набору стилистических средств, но ярко своеобразен по их организации в тексте. Здесь используются главным образом средства общеупотребительного языка, но наряду с ними и научные термины, и конструкции делового стиля, и приемы художественной речи — сравнения, метафоры, эпитеты. Широко употребляются эмоционально окрашенные (высокие или сниженные) слова и обороты: *вояж, безыдейный, свершения, пособник, агрессия, военщина, чудовищные злодеяния, дать отпор, казенщина, головотяпы, охаивать* и т. п.

Такое разнообразие используемых средств объясняется функциями публицистического стиля: не только сообщать или логически доказывать нечто, но и призывать, побуждать к активности, вообще эмоционально воздействовать на людей. Поэтому сочетание в одном высказывании стилистически разных компонентов превращается здесь в важную задачу, от удачного решения которой зависит действенность публицистического текста.

Вот образец агитационной публицистики, т. е. публицистики, использующей в качестве стилистических приемов прямое обращение к читателю, риторические вопросы и восклицания, ритмические повторы слов и конструкций и т. п. Этот образец взят из статьи И. Эренбурга о Франции 1944 г., борющейся с оккупантами, о роли французских писателей в этой борьбе: *Пора вспомнить о долге писателя, французский народ ждет горячих слов. Нужно*

поддержать партизан. Нужно поддержать сопротивляющихся. Не рассуждениями, а человеческим дыханием. Слов великой ненависти ждет народ... Пришло время непримиримости. Франция истекает кровью в неравной борьбе. Пусть зазвенит рог Роланда! Велик французский народ и бессмертны его музы. Когда падут стены темницы, мы услышим изумительные голоса новых писателей, и они нам скажут про все, что пережил французский народ в эти неповторимые годы горя и славы.

Такие факторы, как тема сообщения, его цель, адресат, обусловливают неоднородность каждого функционального стиля. Эти факторы служат причиной дифференциации стилей на разные жанры.

В самом деле, пишет ли ученый для узкого круга специалистов, знакомит ли со своим исследованием представителей смежных наук, выступает на ту же тему в научно-популярном журнале или перед школьниками; описывает ли он проведенный им эксперимент или спорит с оппонентами, дает отзыв о чужом труде или показывает преимущества одних методов перед другими, подкрепляя аргументацию собственными оценками,— во всех этих случаях автор пользуется научным стилем, в большей или меньшей степени примешивая к нему элементы стилей других, например делового, публицистического, используя в разных пропорциях средства книжного языка и разговорного.

Ярким примером могут быть отрывки из работ известного русского кораблестроителя акад. Алексея Николаевича Крылова. Эти отрывки взяты: а) из научной статьи, написанной для людей общей с ним специальности, б) из доклада о механике корабля Русскому физико-химическому обществу, в) из сообщения на заседании комитета обороны (где были не только ученые), г) из статьи «Рассказ о моей жизни», напечатанной в газете «Красный флот», д) из мемуаров «Мои воспоминания», адресованных самым широким кругам читателей, но также содержащих элементы научного стиля.

а) *Чтобы подобрать требуемое сечение балки по данному наибольшему моменту изгибающих сил, надо задать допускаемое предельное напряжение в наиболее удаленном от нейтральной оси слое и разделить изгибающий момент на это напряжение; получится момент инерции сечения. Иными словами, надо изгибающий момент разделить на отношение момента инерции к расстоянию наиболее уда-*

ленного от нейтральной оси слоя («Строительная механика корабля»).

б) *Чтобы корабль не был валок или, говоря морским языком, был бы остойчив, выгодно его делать пошире, а чтобы он был «ходок», очевидно, что его надо делать подлиннее и поуже — требования противоположные. Мерою остойчивости корабля служит его метацентрическая высота, т. е. возвышение метацентра над центром тяжести корабля. Чем это возвышение больше, тем корабль остойчивее* («Физика в морском деле». Доклад Русскому физико-химическому обществу 14/I 1914).

в) *Установка муфт Дженни повышает точность наводки, но это не все, надо еще систему «совмещения стрелок», чтобы наводчику у орудия не вводить постоянно поправок на изменение видимого расстояния, поправок целика и пр., а просто совмещать стрелки: одну прикрепленную к орудию, а другую — автоматически управляемую счетными приборами из центрального поста. Этим меткость огня значительно повышается, а корабль для того и строится, чтобы, стреляя, попадать в противника, а не в воду и небо* (Выступление на заседании комиссии обороны).

г) *Мне предложили разработать вопрос о килевой качке корабля и установить, насколько корабль качается носом и кормой и какой нужно учесть запас глубины под килем, чтобы обеспечить безопасность прохода* [корабля] *в любую погоду* («Рассказ о моей жизни», газ. «Красный флот», 16/III 1939).

д) (Рассказывая о подводной лодке): *Лодка эта была совершенно дурацкая: профиль вроде этакого автомобиля* («Мои воспоминания»).

Сопоставьте эти отрывки и внимательно проанализируйте лексические и стилистические особенности. Анализ покажет, как варьируются языковые средства в зависимости от адресата (читателя или слушателя).

Жанрово-речевое варьирование делового стиля определяется в меньшей степени адресатом, а в большей — сферой канцелярско-деловой деятельности. Сравните разные виды отношений: между государственной властью и населением (законы, указы, постановления; жалобы, предложения и т. п.), между начальством и подчиненными (директивы, приказы, выговоры, благодарности, с одной стороны, и заявления, отчеты, объяснительные записки, с другой), между предприятиями и ведомствами (все виды

деловой переписки, договоры, обязательства), наконец, деловое общение отдельных людей.

Как видим, в разных функциональных стилях и речевых жанрах высокая, нейтральная и сниженная лексика представлена неодинаково. Больше того, пропорция, соотношение разных эмоциональных средств и приемы их сочетания друг с другом — важнейшая отличительная черта каждого функционального стиля, каждого жанра.

Разговорный язык не делится столь четко, как книжно-письменный, на функциональные стили. И это понятно: книжный язык специально разрабатывается, культивируется, поскольку сфера его «обслуживания» чрезвычайно широка, а функции невероятно многообразны. Постоянно осуществляется работа по нормированию книжно-письменного языка, усилиями многих миллионов пишущих он сознательно совершенствуется.

А разговорный язык, на первый взгляд,— неуправляемая стихия: каждый говорит, как ему вздумается, что хочет, с кем хочет и т. д. Но в действительности и здесь есть нормы. Они не устанавливаются сознательно, специально никем не регулируются, а только обусловлены традицией и обычаем.

Разговорным языком мы называем устную форму литературного языка, а не вообще все то, что произносится, говорится (не пишется). А раз так, то естественно, что носители литературного языка и при устном общении друг с другом придерживаются определенных правил речи. Существуют нормы произношения, ударения, употребления слов, свойственные русскому разговорному литературному языку.

Больше того, есть и «неписаные» нормы громкости, тона, ритма устно-литературной речи. Почему мы оборачиваемся в автобусе или в трамвае на слишком громко разговаривающих подруг? Отчего кажется странной речь некоторых нервных больных — монотонная, почти не различающая вопросов, утверждений и восклицаний или же захлебывающаяся, комкающая слова и фразы?

Несомненно, все это происходит оттого, что в нашем мозгу, в механизме владения языком заложены некие образцы интонационной и темповой структуры речи, ее громкости и ритма, которые мы не осознаем, но которые сразу же обнаруживаются, как только возникает отклонение от привычных способов речи.

Подобно собственно языковым — словоупотребительным, произносительным и т. п.— эти нормы функционально разграничены: в разных условиях общения используются различные типы интонации, ритма, тембра, неодинаковый уровень громкости. Сравните выступление на собрании — и разговор у ночного костра с друзьями, ответ ученика на уроке — и его речевое поведение в игре, беседу с учителем — и разговор с родителями и т. д.

У разговорного языка есть одно очень важное, даже, можно сказать, главное отличие от книжно-письменного и от других форм устного общения: его средства, его нормы реализуются в не подготовленной заранее, свободно льющейся речи. Лингвисты называют такую речь спонтанной.

Если вы напишете текст, вызубрите его и в нужный момент начнете произносить, это не будет, как мы отмечали ранее, разговорный язык, несмотря на то что форма его — устная: ведь вы подготовились, заранее создали речь по нормам книжно-литературного языка, а потом просто воспроизвели ее, как пластинка или магнитофон.

Разговорной считается непроизвольная речь, рождающаяся в момент ее произнесения. Потребность именно в таком непроизвольном, естественном говорении возникает на каждом шагу: в семье, в общении с друзьями, в обмене репликами с продавцом, врачом, кондуктором, гардеробщиком... Во всех этих случаях разговорный язык, как это вполне очевидно, бытует преимущественно в диалогической форме. Конечно, легко себе представить и спонтанный монолог: например, выступление (не подготовленное заранее!) на рабочем совещании, где обстановка деловая и дружеская; рассказ о летнем отдыхе и т. п. Но это менее типично для разговорного языка, в отличие от книжного, где преобладающей формой является монолог. В чистом виде разговорный монолог осуществляется редко: природа устного, визуального общения такова, что слушатели естественно перебивают рассказчика замечаниями, репликами, восклицаниями, реагируют на его слова мимикой и жестами (сочувствия, недоверия, изумления и пр.). Не то в книжном языке: вы, конечно, можете ахать, возмущаться или радоваться при чтении монологического текста — скажем, статьи, очерка, книги. Но это ведь не прервет авторского монолога, не нарушит его течения, потому что он уже дан, уже написан.

Это свойство устно-разговорного языка — постоянную ориентацию говорящего на реакцию слушателя, постоянную корректировку речи в зависимости от этой реакции — иногда называют о б р а т н о й с в я з ь ю (термином, заимствованным лингвистами из теории информации).

Область применения разговорного языка у́же, чем книжно-письменного: это в основном дружеские и нейтральные отношения между людьми при их непосредственном общении друг с другом. Чисто деловые отношения и в особенности официальная обстановка «противопоказаны» разговорному языку — в этих случаях используется книжно-письменный язык.

Рассмотрим, чем еще различаются эти две языковые сферы.

Во-первых, в разговорном языке менее жесткие, чем в книжном, нормы. В частности, допускаются дублеты, т. е. не разграниченные функционально слова и обороты. По этому признаку разговорная норма стоит как бы между книжно-письменной и диалектной.

Во-вторых, разговорному языку свойственны некоторые черты, которые отсутствуют в других языковых разновидностях. Вы можете часто услышать (и сами сказать): *Дай чем писать* (т. е. ручку, карандаш); *У вас есть чем накрыться?* (т. е. одеяло) и т. п. Такое расчлененное, описательное наименование объекта по его функции широко представлено в разговорной речи.

Называние вещи по ее предназначению вообще характерно для устного непринужденного общения: незнакомый с «официальным» обозначением предмета, но зная, для чего этот предмет нужен, говорящий «с ходу» производит, например, такие слова: *открывалка, выбивалка, цедилка* и т. п.

Другое свойство — стремление к сжатию речи. Отсюда конструкции, в которых нет союзов, более того — сами слова как бы сополагаются друг другу, а не соединяются синтаксической связью: *Молоко развозит — еще не приходила*? (В книжной речи мы написали бы или сказали: *та, которая молоко развозит...); Со мной вместе работает — вчера уехал в отпуск (тот, кто со мной работает...); Щетка ботинки чистить в нижнем ящике лежит (щетка, которой чистят ботинки...)* и т. п.

Некоторые грамматические формы почти не употребляются в разговорном языке, например причастия и дее-

причастия. Обычно говорят *Он надел пальто и вышел из дому*, а не *Надев пальто, он вышел из дому* [1]. Если и встречаются слова, по форме похожие на деепричастия, то они представляют собой наречия, качественно определяющие действие: *сидит съежившись*, *читает лежа* и т. п.

Напротив, роль других частей речи (глагола, указательных местоимений) особенно велика.

Своеобразие разговорной речи ярко и вместе с тем неощущаемо самими носителями языка. Попробуйте точно записать за приятелем то, что он вам говорит, а потом покажите ему эту запись: в девяти случаях из десяти он не поверит вам, усомнится в том, что именно так он выразился. А все оттого, что речь-то непринужденная, почти не контролируемая сознанием. Как только включается сознание, так порождается другая, не разговорная, а книжная речь, с правильностью, присущей ей и чуждой устно-разговорному языку.

При непосредственном общении людей коммуникативное значение имеют не только слова, но и интонация, мимика, жесты, пространственное положение собеседников друг относительно друга. Все эти элементы дополняют значения, передаваемые чисто языковыми средствами, сплавлены с этими средствами в одно целое. Поэтому если искусственно разъять такое целое и выделить только слова да еще записать их (хотя бы и со скрупулезной точностью),—неизбежно возникнет впечатление языковой странности, «неправильности». Это впечатление никак нельзя считать мерилом нормативности, ибо то, что правильно для книжного языка, неприменимо в языке разговорном, и наоборот: разговорные обороты и конструкции противоречат книжно-литературной норме[2].

---

[1] Гениальный Пушкин писал задолго до наблюдений современных лингвистов: «Не одни местоимения *сей* и *оный*, но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: *карета, скачущая по мосту, слуга, метущий комнату*; мы говорим: *которая скачет, который метет* и пр.,— заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом» («Письмо к издателю», 1836).

[2] Тем, кто хочет больше узнать о специфике русского разговорно-литературного языка, советуем познакомиться с книгой «Русская разговорная речь». М., 1973 (при описании свойств разговорного языка мы опирались именно на это исследование), а также с учебным пособием «Современная разговорная речь и ее особенности», написанным О. Б. Сиротининой (М., 1975).

«Немыслимы канцелярские обороты за обеденным столом,— писал великолепный знаток русского языка и его стилистики Г. О. Винокур,— но «начальство» со своей точки зрения вполне резонно находит иной раз неуместными обиходные выражения в казенном отношении. Когда судья пользуется формулой: «Суд признал, что иск Иванова к Петрову подлежит удовлетворению», то два глагольных слова (*подлежит* и *удовлетворение.— Л. К.*) возникли здесь не потому, что люди «стыдятся говорить просто», а только потому, что такова традиция, черпающая свои силы в некоторых основных законах всякой социальной жизни, каждая сфера которой создает для себя особые и специфические средства выражения. В предложении «До сих пор правительство не считало необходимым преследовать Кука» редактор поправил: «не считало необходимым возбудить преследование против Кука»,— и поступил, на мой взгляд, совершенно правильно. В первом варианте исчезал полицейско-судебный нюанс, который с точки зрения задания этой фразы необходимо было сохранить. Точно так же незаменимы на своем месте все эти расхожие штампы вроде *прийти к соглашению, прийти к убеждению, во избежание, налагать взыскание* и т. п. Все дело лишь в том, чтобы эти штампы действительно стояли там, где нужно, чтобы приятельская беседа не велась в штампах терминологических, а в научном сочинении — не фигурировали штампы застольной болтовни».

Человек, действительно владеющий литературным языком, его стилями и речевыми жанрами, «многоязычен». В различных условиях общения он использует средства разных стилей литературного языка, выбирая те из них, которые наиболее соответствуют целям речевого акта. Этим стиль отличается от диалекта: разными диалектами владеют разные говорящие,— нет людей, которые владели бы, скажем, и вологодским оканьем, и калужским аканьем. А разными стилями владеют одни и те же говорящие. Некоторые исследователи видят в этом главное различие диалектов и стилей и кладут указанный признак в основу определения этих понятий: диалект — это различия, соответствующие различию и с п о л ь з о в а т е л е й, носителей языка, а стиль — это различия, соответствующие различиям в его и с п о л ь з о в а н и и говорящими.

Конечно, овладеть всеми разновидностями литературного языка — дело не простое. Редко кто с равным мастер-

ством сочиняет научные статьи, деловые бумаги, газетные фельетоны и судебные протоколы, одинаково свободно рассказывает друзьям анекдот и произносит речь перед многотысячной аудиторией. Палитра функциональных стилей и речевых жанров, как мы видели, широка и разнообразна, и человек использует лишь те ее краски, которые лучше других знакомы ему и которые наиболее необходимы ему в трудовой деятельности и в общении с окружающими.

Однако бесспорно, что каждый носитель литературного языка употребляет обе его разновидности — книжную и разговорную, пусть не во всех функциональных проявлениях. «Одноязычные», т. е. те, кто владеет только книжным или только разговорным языком,— редкое исключение, скорее даже аномалия. Правда, есть даже такие люди, которые владеют только одним стилем, например, официально-деловым. И в отношениях с близкими, с друзьями они используют штампы канцелярского жаргона: перед женой *ставят вопрос о недожаренном мясе,* обсуждая с приятелем футбольный матч, заявляют, что *в части игры вратаря* они довольны и т. д. Но ведь такого человека и не назовешь носителем литературного языка.

А как обстоит дело с художественной речью, с языком художественных произведений? Что это — тоже функциональный стиль литературного языка? Одно время так и считали. Но постепенно, по мере того, как разрабатывались, с одной стороны, теория художественной речи (в трудах Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, М. М. Бахтина и других советских ученых), а с другой — понятие литературного языка, становилось очевидным, что художественное слово невозможно уложить в жесткие рамки литературной нормы. Да и не нужно это делать.

Литературный язык составляет о с н о в у словесной ткани художественного произведения. А на эту основу писатель волен наносить какой угодно языковой узор.

Для тех целей, которые ставит перед собой автор произведения, он берет наиболее подходящие языковые средства, широко используя и диалектную речь, и просторечие, и профессионализмы, и другие известные ему элементы общенационального языка. Да и как может быть иначе? Если, описывая жизнь рабочих, прозаик заставит их говорить книжным языком, он погрешит против правды: ведь на самом деле рабочие так не говорят.

То, насколько органично сливаются разные языковые струи в художественной речи, зависит от таланта писателя, от его стилистического мастерства, от тех эстетических задач, которые он хочет решить в своем сочинении. Словесная ткань некоторых произведений состоит почти сплошь из нелитературного языкового материала — как, скажем, у Михаила Зощенко. Это художественно оправданный прием, и только: разоблачая мещанство, писатель заставляет говорить самого мещанина. Нелепо требовать от автора, чтобы он в своем творчестве неукоснительно следовал нормативному словарю, но столь же нелепо объявлять всякое слово, встретившееся в художественном тексте, бесспорно литературным.

«Ейный», «пущай», «цельный день», «польт не напасешься», «завсегда» — эти и подобные выражения так и мелькают в рассказах и повестях Зощенко. Это органические элементы его писательского языка, его творческой манеры, так говорят действующие лица его произведений, от имени которых, через восприятие которых ведется повествование. Но совершенно очевидно, что эти слова и обороты не литературны.

Но не только для речевой характеристики персонажа использует писатель нелитературные средства. Часто просторечное или диалектное слово можно встретить и в авторской речи. Это диктуется или содержанием произведения, его темой (как это свойственно, например, современной «деревенской» прозе — повестям Ф. Абрамова, В. Белова и других), или художественно-эстетическими целями (а нередко тем и другим вместе).

Писатель или поэт свободен в выборе языковых средств, но это именно свобода, а не анархия: и слова, и конструкции, и интонацию своего произведения он подчиняет той внутренней идее, которую хочет художественно воплотить. Взаимодействие языковых элементов, часто контрастных стилистически, должно создавать цельную эстетическую картину. Именно поэтому диалектизмы и просторечия, скажем, в поэмах русской поэтессы XX в. Марины Ивановны Цветаевой мы воспринимаем как необходимую точность, как единственно уместные языковые элементы:

Сидел, сидел царь наш — и н д а устал!
Ручкой-ножкой себе путь р а с п р о с т а л.

(М. Ц в е т а е в а. Царь-Девица.)

И ладит, и гладит,
Долг девичий п л о т и т,
Ресницами в самые веки щекотит.

(М. Ц в е т а е в а. Царь-Девица.)

То же — в поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин», которая вся насыщена просторечной лексикой, разговорным синтаксисом:

Немец стукнул так, что челюсть
Будто вправо подалась.
И тогда боец, не целясь,
Х р я с н у л немца п р о м е ж глаз.

Бьются двое в клубах пара,
О б и н о м уже н е р е ч ь,—
Л а д и т Теркин от удара
Хоть бы зубы з а б е р е ч ь.

Художественная речь — явление индивидуально-стилистическое. Поэтому здесь может быть употреблена даже явная ошибка, «неправильность».

Но и используя ошибку, «неправильность», писатель делает это сознательно, с определенной целью, как употребляет он и все другие языковые средства. В этом проявляется стремление к о т б о р у выразительных элементов, а не безразличное их использование. Границы этого отбора неизмеримо шире, чем в нормативно-литературном языке, но они есть: не всякое слово, услышанное на деревенской улице или в заводском цеху, может быть б е з у с л о в н о вплетено в ткань произведения, не всякий оборот речи, «простонародный» по происхождению, годится для художественного изображения крестьянина или рабочего.

Таким образом, язык художественной литературы — очень своеобразное явление. Основу его составляют средства литературной речи, но вместе с тем он вбирает в себя самые разнообразные элементы национального языка, сложное сочетание которых в художественном тексте диктуется внутренним его содержанием и эстетическими целями.

Художественная речь только внешне — книжная: она реализуется в книгах, в художественных произведениях. Но по сути она и книжная — и разговорная, и литературная (в основном) — и диалектно-просторечная (в част-

ности), и письменная — и устная (сравните устные рассказы Ираклия Андроникова, которые по художественной силе не уступают иным написанным).

Подведем краткий итог тому, что сказано в этой части книги.

Представляя собой национальное единство, принадлежа определенной нации или народности, каждый язык в то же время невероятно многолик, разнообразен. Он существует в местных диалектах, профессиональных «языках», социальных арго, а главной, в социальном и коммуникативном отношениях, формой его является литературный язык. Продукт развития культуры и цивилизации, литературный язык, в отличие от говоров и социальных жаргонов, общепонятен для всех говорящих на данном национальном языке. Его нормы представляют собой сложную систему средств, детально дифференцированных в зависимости от целей и условий речи. Эти нормы едины и общеобязательны для всех владеющих литературным языком, они специально разрабатываются, их пропагандируют среди говорящих с помощью учебников, словарей, лекций, радиопередач...

Но и при всех этих условиях нормированный, литературный язык обнаруживает колебания, которые вызваны сосуществованием старых и новых форм выражения, постоянно происходящей функционально-стилистической дифференциацией языковых средств.

Все это еще раз подтверждает мысль о диалектичности языкового единства: единый и общепонятный, каждый язык существует в поистине неисчислимом многообразии речевых форм. А это многообразие — величина производная: она определяется многообразием и сложностью коммуникативных задач, которые характерны для данного общества.

Как же реально употребляется язык в человеческих коллективах? Каковы те факторы, которые влияют на выбор средств и их использование? Как происходит усвоение правил выбора и употребления? Что заставляет человека менять свою речь по форме, тону, окраске? Какими дополнительными средствами, кроме словесных, пользуются люди при общении друг с другом?

Выяснению этих вопросов мы посвятим следующую часть книги.

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ

СМОТРЯ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Хиггинс. *Что ж, по-вашему, я разговариваю не так, как принято в обществе?*

Миссис Хиггинс. *Нет, милый, отчего же; это смотря в каком обществе. На грузовой пристани, вероятно, так именно и принято, но на званом обеде в Челси обычно разговаривают иначе.*

Б. Шоу. Пигмалион

В романе Ф. М. Достоевского «Подросток» есть такая сцена. Герой романа, от лица которого ведется повествование, читает записку, оставленную самоубийцей, и обсуждает эту записку с другими действующими лицами романа, Васиным и Версиловым. Вот эта сцена:

«Маменька, милая, простите меня за то, что я прекратила мой жизненный дебют. Огорчавшая вас Оля».

...— Какая странная записка! — воскликнул я в удивлении.

— Чем странная?— спросил Васин.

— Разве можно в такую минуту писать юмористическими выражениями?

Васин глядел вопросительно.

— Да и юмор странный,— продолжал я, — гимназический условный язык между товарищами... Ну, кто может в такую минуту и в такой записке к несчастной матери,— а мать она ведь, оказывается, любила же,— написать: «прекратила мой жизненный дебют»!

— Почему же нельзя написать?— все еще не понимал Васин.

— Тут ровно никакого и нет юмора,— заметил, наконец, Версилов,— выражение, конечно, неподходящее, совсем не того тона, и действительно могло зародиться в гимназическом или там каком-нибудь условно-товарищеском, как ты сказал, языке али из фельетонов каких-нибудь, но покойница, употребляя его, наверно, и не заметила, что оно не в тоне, и поверь, употребила его в этой ужасной записке совершенно простодушно и серьезно.

— Этого быть не может, она кончила курс и вышла с серебряной медалью.

— Серебряная медаль тут ничего не значит. Нынче многие так кончают курс» (Ф. М. Достоевский. Подросток).

Как оценивать ту языковую особенность, которая характерна для предсмертной записки Оли? Является ли она стилистической ошибкой? Бесспорно, да. Но этого явно мало. Недаром герой подчеркивает неуместность в такую минуту и в такой записке к несчастной матери слов *прекратила мой жизненный дебют*. Язык записки неточен не только стилистически, но и ситуативно: слишком трагическая минута, чтобы употреблять такие слова. Эти слова как-то не вяжутся и с тем, в качестве кого выступает в данном случае Оля,— с ее «ролью» дочери, которая обращается с прощальной запиской к матери.

На то, что употребление слова зависит от ситуации, знатоки и исследователи языка обратили внимание давно. Хорошо понимал и чувствовал ситуативную обусловленность речи еще А. С. Пушкин. В одной из своих статей он писал: «В [светском] обществе вы локтем задели соседа вашего, вы извиняетесь — очень хорошо. Но, гуляя в толпе под качелями, толкнули лавочника— вы не скажете ему: mille pardons. Вы зовете извозчика — и говорите ему: *пошел в Коломну*, а не — *сделайте одолжение, потрудитесь свезти в Коломну»*.

Но до сравнительно недавнего времени подобные наблюдения были случайными. К сожалению, не делалось попыток как-то обобщить их и теоретически объяснить. В конце прошлого века учитель М. А. Караулов исследовал говор гребенских казаков и отметил при этом: «Лет шесть-семь назад школьники лишь в школе употребляли слово *здесь*, а дома говорили только *тут*, рискуя в противном случае подвергнуться насмешкам: до такой степени прочна была традиция». Подобное явление наблюдается и сейчас. Перед нами пример четкого разделения ситуаций — семейной и учебной.

Современная лингвистика накопила огромное количество таких наблюдений, с неоспоримостью указывающих на то, что одним из решающих факторов в использовании языка является ситуация, в которой происходит речевое общение.

Так, изучая взаимодействие языков в одном обществе, ученые установили, что одни и те же люди могут владеть двумя или несколькими языками, распространенными в данном обществе. Но владеют они ими не «безразлично»: хочу — говорю на одном языке, хочу — на другом, а в сильной зависимости от вида общения, от обстановки, от типа отношений с партнером и т. п., т. е. от того, что в совокупности составляет ситуацию.

Новосибирские языковеды и этнографы в течение нескольких лет исследовали двуязычие у народов Сибири и Севера. Оказалось, что большой процент таких народностей, как эвенки, якуты, чукчи, алеуты, орочи и другие, составляют люди, владеющие и родным языком, и русским. Но пользуются они тем и другим в зависимости от условий. В семье, в бытовых разговорах с соплеменниками преобладает родной язык; в производственной и служебной обстановке и вообще при официально-деловых отношениях они употребляют русский язык как средство межнационального общения.

Сходная картина наблюдается и в других дву- и многоязычных обществах. Например, во многих освободившихся от колониальной зависимости странах Африки идет процесс консолидации, объединения в рамках одного государства разных наций и народностей, каждая из которых имеет свой язык или диалект. Важной задачей в этом процессе является выработка или установление языка-посредника, с помощью которого осуществлялось бы общение между представителями разных национальностей. Таким языком в некоторых африканских странах стал суахили, на котором говорит около 50 миллионов человек.

При установлении языка-посредника другие языки и диалекты, естественно, продолжают существовать. Но происходит функциональное распределение сосуществующих языков. Язык-посредник используется во всех сферах, связанных с образованием, производством, официальными служебными отношениями, и постепенно расширяет поле своего применения. А другие, местные языки употребляются обычно в повседневном общении.

Двуязычие может возникать не только в условиях многонационального государства, но и, например, при обучении человека, владеющего одним языком (родным), в учебных заведениях другой страны. И в этих случаях

использование родного и нового языков функционально разграничивается. Так, иностранные студенты, обучающиеся в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы в Москве, между собой общаются на родном языке (немцы — на немецком, арабы — на арабском и т. д.), а в учебных и «городских» (транспорт, магазины, кино и т. п.) ситуациях прибегают к помощи русского языка.

Итак, разные языки в пределах одного общества, в речевой практике одних и тех же людей (языковеды называют таких людей *билингвами*, или *двуязычными*) функционально различаются: употребление того или другого языка обусловлено *ситуацией общения*. Принципиально то же самое наблюдается и в одноязычном обществе.

Вспомните то, что мы говорили о функциональных разновидностях языка: каждая из них применяется в соответствии с целями общения. В некотором смысле — не со стороны их качественной лингвистической характеристики, а исключительно по их роли в речевой коммуникации,— функциональные разновидности языка представляют собой аналог разных языков в многоязычном обществе. Подобно тому, как житель какого-нибудь африканского государства выбирает и использует язык в зависимости от ситуации, коренной москвич или лондонец, варшавянин или житель Рима выбирают и используют те функциональные разновидности русского, английского, польского или итальянского языков, которые больше всего соответствуют ситуации. Ситуативная обусловленность определяет использование как разных языков, которыми владеют одни и те же говорящие, так и функциональных разновидностей одного национального языка.

Так как в этой книге в качестве иллюстраций берется главным образом русский языковой материал, то и влияние ситуации мы рассмотрим на примерах, взятых из современной русской речевой практики и из русской художественной литературы.

Ситуация, понимаемая нами в значении «конкретные условия речевого общения», состоит из таких формирующих ее компонентов: 1) говорящий (или пишущий); 2) слушающий (читающий); 3) отношения между говорящим (пишущим) и слушающим (читающим); 4) средство связи (язык, диалект, стиль); 5) способ связи (контактный или дистантный — например, разговаривают ли

двое за обеденным столом или по телефону,— устный или письменный); 6) место; 7) цель; 8) тема общения.

Число ситуаций очень велико — хотя бы потому, что, изменяясь, каждый из перечисленных компонентов принимает множество значений: говорящий (и слушающий) может быть молодым, стариком, рабочим, крестьянином, словоохотливым, молчаливым, давним жителем такого-то города, приезжим и т. д., отношения между участниками общения варьируют от официальных до интимно-дружеских; средствами связи могут служить многочисленные стили и диалекты языка, которыми говорящие пользуются либо устно, либо письменно; не поддаются учету все места, где может вестись общение, цели и темы.

Как же обычный носитель языка ориентируется в этом море ситуаций, чем он руководствуется при выборе и употреблении языковых средств? Он учитывает существенные различия между речевыми ситуациями.

Как и во многих других случаях, например, при изучении звукового состава языка или смысловых отношений между словами, при анализе разнообразных форм материального мира, исследовании психики человека и т. п., в результате наблюдений над ситуациями можно выделить существенные и несущественные признаки. Существенны такие признаки, которые отличают одну ситуацию от другой, причем так, что это сказывается на особенностях речевого общения. Если, например, *А* и *Б* разговаривают друг с другом (1) в служебных условиях и (2) на дружеской вечеринке, то речевое поведение их различно, и компонент «место» оказывается, таким образом, существенным. Если же они беседуют на тротуаре или во дворе дома, то это никак не отражается на их речи; компонент «место» в этих случаях не существен для речевой ситуации и не изменяет ее.

Представление о существенности тех или иных факторов, влияющих на изменение ситуации, есть у каждого взрослого говорящего. Оно составляет важный аспект умения правильно использовать язык. Лингвистика пытается лишь описать это представление, вскрыв механизм взаимодействия собственно языковых и ситуативных, «обстановочных» элементов человеческого общения.

Одним из самых существенных психологических факторов, влияющих на речевое поведение человека, является установка.

Для объяснения сути того, что такое установка, расскажем об одном эксперименте, проведенном учеными-психологами. Испытуемым давали в каждую руку по шару равного веса, но разного объема — один большой, другой поменьше. И так несколько раз. Затем им дали два одинаковых шара и попросили охарактеризовать их объем. Одни испытуемые признавали бóльшим шар в той руке, в которую раньше вкладывали шар меньшего объема; другим же (их оказалось гораздо меньше) бóльшим казался шар в руке, в которой перед этим были шары большего объема. И никто не заметил, что шары равного объема. Это произошло потому, что в результате серии предварительных испытаний, когда человеку последовательно предлагали шары неодинакового объема, у него возникла установка на различие объема. Эта установка продолжала действовать, у одних по контрасту: по сравнению с маленькими шарами шар контрольного опыта казался даже бóльшим, чем его пара, у других — по ассимиляции: бóльшим считался шар в той руке, в которую и раньше вкладывали шары большего объема.

В другом эксперименте испытуемого, который знаком с латынью, попросили вслух прочитать текст на латинском языке. В этот текст, на значительном расстоянии от его начала были вкраплены русские слова. Когда человек «вчитывался» в текст, привыкал к нему, то и русские слова он читал по-латински (т. е. например, слово *вор* читал как «боп», *чепуха* как «реникса») и лишь некоторое время спустя спохватывался, замечая свою ошибку. И здесь действует установка на определенный язык, которая вызывает активизацию навыка чтения именно на этом языке, а не на другом.

Установка — это психологическое состояние человека, в которое он приходит для какого-либо целесообразного действия, для восприятия событий, для общения с другими людьми и т. п.

В речевом поведении установка проявляется в ориентации не только на определенный язык, как в описанном выше опыте, но и на те переменные, которые составляют акт общения: на контекст, на ситуацию, на социальное положение собеседников, их число (одно дело говорить с кем-нибудь с глазу на глаз и совсем другое — выступать в большой аудитории), на то, видит ли партнера говорящий или, скажем, обращается к нему по радио, и т. п.

www.ruslang.ru

Установка в речевом поведении (так же как и в других видах человеческого поведения) основана на прошлом опыте: человек з а р а н е е знает, что в официальной ситуации надо говорить так, а в неофициальной иначе, что деловой разговор в учреждении отличается от приятельской беседы и т. д.

Об установочной роли контекста и ситуации свидетельствуют, например, случаи различного «достраивания» недостающих частей высказывания или отдельного слова.

Так, в юридическом тексте слово с первой частью *противо-* с большой вероятностью будет угадано как *противозаконный* или *противоправный*, а в военном — как *противопехотный, противотанковый, противовоздушный* и т. п. Полупогасшее световое название «б о ная» над магазином, в витринах которого видны батоны, крендели, сдобы, будет прочтено как *булочная*, а в других ситуациях расшифровка окажется иной: например, *Бронная* — название улицы, *уборочная* — в тексте газетного заголовка и т. п.

На знании ситуации, точнее — на владении ею основан механизм подсказки в разговоре: говорящий затрудняется в выборе подходящего слова, слушатель подсказывает, исходя из предыдущего контекста, ориентируясь на речевую манеру говорящего, выражение его лица, жестикуляцию, на его действия во время разговора и многое другое, что в совокупности составляет атмосферу конкретного речевого акта.

Установка на контекст, на ситуацию проявляется очень рано. Ребенок, воспитываемый двуязычно,— как это заметил советский психолог Д. Н. Узнадзе, впервые систематически исследовавший явление установки,— уже на втором году жизни пытается с матерью говорить на одном языке, а с няней, которая говорит на другом языке,— на этом другом. При этом он редко путает слова, принадлежащие разным языкам.

Ситуативная установка важна не только для говорящего, но и для слушателя, для того, кто воспринимает речь. Правильная «настройка» на высказывание помогает быстрому и лучшему его пониманию. Так, например, в военных условиях обычным является кодирование речи: оно необходимо, чтобы действия войск скрыть от противника. Поэтому слушатель свободно расшифровывает «эзопов язык» командирских распоряжений: *...командир полка уже вырвал трубку:— Кто на проводе? Андреев? Давай х о з я и-*

на (т. е. командира). *Ну, как двигаешь* (=наступаешь)? *Ага! Что? левый бочок болит* (=на левом фланге не все в порядке)? Мы туда *«танюшу»* (=танк) *двинем. Так. Младший брат* (=подчиненный говорящему командир артдивизиона) *собачек* (=орудия) *выдвинет. Все? Продолжай смелее. За левый бок не опасайся. Действуй* (Ю. Нагибин. Связист Васильев).

В другой, не боевой обстановке подобная речь вызвала бы у слушателя недоумение, так как он не был бы подготовлен к ней ситуацией.

Речевая установка меняется и в зависимости от социальных характеристик собеседника, от отношений между говорящими. Например, существенны социальный статус, образование, профессия, пол, возраст участников акта речевого общения: мужчина с женщиной или молодой человек со стариком разговаривают обычно более почтительно, чем мужчина с мужчиной или юноша со своими сверстниками. Беседа лиц, занимающих разное социальное положение (например, директора и подчиненного), имеет особенности, которые отличают ее от разговора лиц равного социального статуса (например, двух рабочих; подробнее об этом — в следующей главе).

Смена речевой установки осуществляется тем легче, чем свободнее владеет человек различными функциональными подсистемами языка и прежде всего — стилями литературной речи. Человеку, говорящему только на диалекте или только на просторечии, сложнее перестраивать свою речь с одной установки на другую, как того требуют условия общения,— для этого ему не всегда хватает языковых средств, той гибкости, которая характеризует речевую практику носителей литературного языка. Сама способность к ситуативному переключению с одних языковых средств на другие может служить критерием при отнесении говорящих к той или иной социальной общности.

Некоторые языковые средства бывают так прочно привязаны к ситуациям определенной тональности, определенной окраски, что сами по себе способствуют созданию речевой установки: употребление такого-то слова или оборота окрашивает акт общения в шутливый, иронический или, напротив, официально-серьезный, деловой «цвет». В связи с этим интересно замечание акад. В. В. Виноградова о подобной роли расхожих литературных цитат (вроде *Ка-*

рету мне, карету!, И жить торопится, и чувствовать спешит и др.). В книге «О языке художественной литературы» он писал: «...состав цитаты, ее экспрессия влияет на ее литературное использование, иногда даже предопределяет ситуацию и стилистические оттенки ее употребления. Так, ходячая цитата из рассказа Чехова «Брак по расчету»: *Позвольте вам выйти вон* — уже в силу галантно-комической вульгарности своего построения может вместиться лишь в стиль фамильярно-шутливого или иронического изображения».

Перечисляя факторы, которые обусловливают особенности разнообразных речевых ситуаций, никак нельзя упускать из виду и то, как, каким способом общаются между собой люди: видят ли они при этом друг друга или беседуют по телефону, переписываются по почте или же один читает произведения другого, никак не ставя его в известность о своей реакции (ситуация «книга — читатель») и т. д.

Устное речевое общение, в особенности контактное, т. е. такое, при котором говорящие вступают друг с другом в визуальный контакт (сравните беседу за столом и разговор по телефону), сильно отличается от письменного. То, что в случае письменного общения должно обязательно выражаться с помощью слов, в разговоре бывает ясно из обстановки и не требует словесного обозначения. Устная речь, по справедливому замечанию В. А. Звегинцева, это просто ориентированный на ситуацию язык. Ситуация есть «обязательный компонент самой речи...».

Из-за того, что элементы ситуации при устном общении могут нести ту же информацию, что и слова в письменной речи, в разговорных конструкциях так часты и даже обычны пропуски того, что неважно для понимания, что и так ясно из обстановки.

Главные причины сокращений и пропусков — во-первых, частая повторяемость ситуации, ее привычность для говорящих и, во-вторых, непринужденные или нейтральные отношения между участниками общения. Эти стимулы действуют как в совокупности, так и отдельно. Если ситуация привычна, то это само по себе уже хорошее условие для сжатия речи. Если к тому же и отношения между партнерами дружеские, то сжатие может быть максимальным. При не очень частой и потому менее привычной для говорящих ситуации второй стимул — непринужден-

пость отношений — может оказаться единственным условием для сокращения речи.

Рассмотрим, какие элементы высказывания говорящий чаще всего опускает как необязательные.

Особенно легко опускается название самого предмета, о котором идет речь: называются его признаки, действия, с ним связанные, но не он сам. Это и понятно: предмет речи известен обоим собеседникам, а то и просто виден им и поэтому не нуждается в назывании.— *Идет!* — произносит один из стоящих на автобусной остановке. И всем сразу ясно: идет а в т о б у с. В другой ситуации тот же самый глагол будет понятен иначе: ученик, после звонка вбегающий в класс, где все уже сидят на своих местах, восклицает: — *Идет*!, имея в виду идущего в класс учителя. Третья ситуация: несколько прохожих укрылось от дождя под крышей подъезда. Дождь постепенно слабеет, превращается в мелкий, едва различимый на глаз. Один из стоящих вытягивает руку ладонью кверху и сообщает остальным: — *Идет...*

— *Дайте мне вот эти коричневые,*— говорит продавцу обувного магазина молодая женщина и показывает на коричневые туфли. Хотя слово *туфли* не произнесено, но по самой ситуации и по жесту ясно, что́ имеет в виду покупательница. Ее речь была бы крайне неестественна, если б она сказала: *Дайте мне коричневые туфли 35-го размера на среднем каблуке, которые стоят третьими справа на второй полке...*

Иногда для взаимного понимания не нужно вообще никаких слов. Если вы протягиваете четыре копейки продавцу газированной воды, то это означает просьбу (не выражаемую словесно!) налить вам один стакан воды с сиропом. Если ваше лицо небрито, то в парикмахерской не надо объяснять цель вашего визита: достаточно выразительно провести ладонью по щекам, чтобы парикмахер понял, что вас нужно побрить.

Сравнивая визуальное общение людей и их внутреннюю речь, выдающийся советский психолог Л. С. Выготский писал: «...в устной речи возникают элизии и сокращения тогда, когда подлежащее высказываемого суждения наперед известно обоим собеседникам. Но такое положение вещей является абсолютным и постоянным законом для внутренней речи. Мы всегда в курсе нашей внутренней ситуации. Тема нашего внутреннего диалога всегда известна

нам. Мы знаем, о чем мы думаем. Подлежащее нашего внутреннего суждения всегда наличествует в наших мыслях». Поэтому тенденция называть только действия, но не сам предмет, относительно которого они совершаются, характеризует внутреннюю речь всегда, устную речь — часто, письменную — крайне редко.

Отсюда можно сделать вывод: чем интимнее, неформальнее отношения между собеседниками, тем благоприятнее условия для свертывания высказываний (понимание «с полуслова»); и, напротив,— чем формальнее отношения, тем больше приближается устная речь к письменной по развертываемости высказываний.

В каждом языковом обществе существует определенный набор ежедневно повторяющихся ситуаций. Особенно характерно это для условий общения в современном городе. В троллейбусе, магазине, парикмахерской, поликлинике люди находятся в постоянно одних и тех же стереотипных ситуациях: едут, покупают, стригутся, лечатся. И словесные и синтаксические средства, которые при этом используются, тоже стереотипны, т. е. наблюдается, как писал замечательный советский языковед Л. П. Якубинский, «обрастание шаблонных бытовых взаимодействий шаблонными речевыми взаимодействиями».

Группа московских языковедов, изучающая современную русскую разговорную речь, провела массовое обследование наиболее типичных городских ситуаций. Оказалось, что число словесных и синтаксических единиц, используемых в них, сравнительно невелико, но они обладают очень большой повторяемостью.

Например:

У кассы кинотеатра:

— *Один на девять.*

— *Два на пять, ряд восьмой-девятый, пожалуйста.*

— *Два на семнадцать тридцать, подальше.*

У ларька с мороженым:

— *Два по одиннадцать.*

— *За двадцать восемь одно.*

— *Мне эскимо, пожалуйста.*

В продовольственном магазине:

— *Полкило докторской.*

— *Двести российского.*

— *Два двадцать в мясной.*

— *Два молока* (=два пакета молока).

— *Две кефира (*=две бутылки кефира).

У железнодорожной кассы:

— *Один до Клина.*

— *Взрослый и детский до Куровской.*

— *Кратово — обратно, два.*

Эти стереотипные фразы произносят все, независимо от возраста, социального положения, пола, характера и т. п. признаков — настолько велика власть ситуативного шаблона.

В подобных фразах опускаются обычно неинформативные элементы, те, которые не отличают один предмет от другого, и, напротив, сохраняются информативные. Ведь если сказать, подавая чек продавцу молочного отдела:— *Две бутылки,*— он неизбежно задаст вам уточняющий вопрос:— *Чего?* — потому что в бутылках продается и молоко, и кефир, и сливки.

Точно так же при покупке газет опускается само слово *газета,* а у двусловных наименований сохраняется только одно слово — именно то, которым название этой газеты отличается от других: *«Россия»* (вместо *«Советская Россия»*), *«Вечерняя»* или *«Вечорка»* (вместо *«Вечерняя Москва»*). Не говорят:— *Дайте «Советскую»* или *«Москву»,* потому что, кроме газеты «Советская Россия» есть еще «Советская культура» и журналы с названиями, в состав которых входит слово *советская* (*«Советская женщина»,* например), а рядом с «Вечерней Москвой» на прилавке киоска может лежать журнал «Москва».

В некоторых ситуациях употребляются только строго определенные средства. Возможности варьировать их или минимальны, или равны нулю. Поэтому информативность произносимого знака практически также нулевая: всегда одно и то же употребляется в одних и тех же условиях. Слушатели заранее знают, что́ будет произнесено. При таком положении замена традиционно употребляемого знака другим не воспринимается (по крайней мере первоначально) слушающими: им слышится то же, что всегда, т. е. действует обычная для этой ситуации установка.

В связи с этим интересен такой пример. В троллейбус входит молодой человек и деловым, будничным тоном произносит:

— *Без билета.*

В точно такой же ситуации, тем же тоном обычно произносят:

— *Проездной.*

Ситуация настолько привычна и незначаща для пассажиров, что никто не обращает внимания на замену слов, хотя многие слышали реплику (слышали, но не вслушивались).

С явлением пропуска, эллипсиса в разговорных конструкциях связан и тот факт, характерный для некоторых стереотипных ситуаций, что в слове актуализуется, усиливается какая-то сторона его значения. Употребление его оказывается обусловленным конкретной обстановкой, а вне ее высказывание может быть понято неправильно.

Примером может служить такой диалог у книжного киоска.

Продавец обращается к юноше, который смотрит на витрину:

— *Что вас интересует?*

Тот:— *Ничего* (отходит).

И вопрос, и ответ правильно можно понять только с учетом условий речи: *Что вас интересует из книг, которые здесь есть;* и ответ *Ничего* относится также к книгам. Он, конечно же, не равен утверждению «Меня вообще ничего не интересует».

В сберкассе служащий говорит клиенту, который подал ему заполненный бланк ордера на получение денег:

— *Вы плохо расписались,*— и возвращает ордер клиенту с просьбой расписаться еще раз.

Клиент (расписавшись):— *Теперь хорошо?*

— *Теперь хорошо.*

В этом диалоге слова *плохо* и *хорошо* употреблены не в «абсолютных», не в словарных своих значениях, а в относительных, ситуативных: плохо и хорошо относительно того образца подписи, который имеется на регистрационной карточке и с которым служащий сопоставляет свежую подпись клиента. Это обстоятельство известно им обоим, оно и обеспечивает ситуативное понимание названных слов. В действительности образец подписи может быть ужасным: неразборчивым, корявым и т. д., т. е. плохим, но в другом, «эстетическом» смысле, а «плохая», с точки зрения служащего, свежая подпись может казаться красивой, четкой и т. д., т. е. быть хорошей каллиграфически.

Приведем еще один пример.

Разговаривают двое подростков.

— *Сегодня будет КОАПП, потому что в прошлое вос-*

кресенье была «Радионяня»,— сообщает один из них другому, и тот прекрасно понимает первого. Между тем такое понимание немыслимо при одном лишь знании языка — необходимо еще знать, что передачи, о которых идет речь, чередуются: в одно воскресенье по радио передают «КОАПП» («Комиссия по охране авторских прав природы»), а в следующее, в те же часы, специальная передача «Радионяня». Это неязыковое знание есть у обоих подростков.

Среди стереотипных ситуаций выделяются такие, которые связаны с отправлением какого-либо обряда, освящены устойчивой традицией, ритуалом, «санкционированы» обществом. В этих устойчивых ситуациях речь представляет собой сочетание готовых формул, а состав и порядок подобных формул достаточно строг и почти не допускает колебаний и вариантов. Таковы, например, ситуации приведения солдат к воинской присяге, свадебные и некоторые другие обряды. Речевое поведение непосредственных участников этих ситуаций (солдата, приносящего присягу, жениха и невесты) жестко регламентировано.

С другой стороны, есть «свободные» ситуации, допускающие значительную речевую вариативность. Как правило, между участниками таких ситуаций существуют непринужденные отношения, а условия общения должны исключать какую бы то ни было официальность. Этим требованиям отвечают, например, ситуации совместной игры детей, подростков, все виды внешкольного общения одноклассников, дружеские вечеринки. В отличие от часто повторяющихся городских ситуаций, о которых мы говорили выше, здесь стереотипность речи нежелательна — она допускается лишь в приветствиях и прощаниях и в игровых формулах (считалках, устойчивых названиях действий, фаз детской игры и пр.). Во всем же остальном шкала речевых средств, используемых в подобных ситуациях, велика и разнообразна.

Гораздо большее значение, чем сами слова и фразы, несущие определенную информацию или же вовсе «пустые», имеют в свободных ситуациях тон речи, громкость голоса, положение собеседников друг относительно друга, их взаимная установка на речевой контакт, т. е. все то, что может быть названо психологическим климатом общения.

Поведение, дисгармонирующее с климатом общения, обычно вызывает осуждение у другого или других участников ситуации. Оно выражается, в частности, в замечаниях: *Перемени тон; Почему ты на меня не смотришь?; Повернулся спиной; Надул губы; Не командуй* и т. п.

Значительная часть речевых ситуаций в современном цивилизованном обществе приходится на разного рода официальные и полуофициальные отношения людей друг с другом. Это не только те городские ситуации, о которых мы говорили, но и такие, которые менее стереотипны и потому требуют большего развертывания речи.

В ситуациях «урок в школе», «судебное разбирательство», «прием посетителей в исполкоме», «конференция», «экзамен», «заседание ученого совета в научном институте» и под., где преобладают официальные отношения между участниками общения, диалогические формы речи заметно подавляются монологическими. Сравните объяснение урока, речь адвоката или обвинителя, изложение просьбы посетителем в исполкоме, выступление докладчиков и т. п. А монологическая речь очень часто использует выразительные средства книжно-письменного языка, если не словесные, то синтаксические: когда говорящего никто не прерывает (а такое прерывание — обычное дело в непринужденной обстановке), то ничто не мешает ему завершить фразу, построить ее «по всем правилам».

Конечно, и в официальной обстановке человек ориентируется на реакцию собеседника или аудитории, перебивает себя и повторяет мысль в более ясных, с его точки зрения, словах. Можно наблюдать и другие черты, свойственные всякому устному общению, но проявляются эти черты слабее. Это объясняется тем, что официальность отношений между сторонами общения, осознаваемая говорящим важность ситуации не позволяют особенно «вольничать» словом, сокращать высказывание, считать что-то само собой разумеющимся и т. д. Да и, кроме того, сам предмет разговора в подобных ситуациях не всегда очевиден для участников: одно дело, когда свидетель в суде может жестом указать на сидящего тут же подсудимого, и совсем другое, когда он по требованию судьи излагает обстоятельства совершённого при нем преступления: он видел, как все произошло, и в его задачу входит максимально полно рассказать сидящим в зале, что же он видел. Ясно, что в его сообщении должно быть мало общего с ма-

нерой его речевого поведения, скажем, у табачного киоска или в столовой.

Примеры, приведенные в этой главе, показывают, что речевые ситуации чрезвычайно разнообразны, а речевое поведение человека многогранно и зависит от большого числа переменных величин.

Можно ли это разнообразие свести к некоторым типам речи, т. е. создать типологию речевого поведения? Бесспорно, можно. В интересной статье, которая так и называется — «О типологии речи» [1], проф. А. А. Холодович перечисляет пять основных факторов, формирующих разные типы речи:

1) средство выражения: звук, письменный знак, жест. В устном общении люди используют звуковой язык и жесты; если же нужно написать книгу, статью или просто записку приятелю, то пользуются письменными знаками — буквами, точками, кавычками, чертежами, схемами и т. п.;

2) наличие /отсутствие партнера: в большинстве видов речи собеседник есть или подразумевается, но иногда пишут для себя, не предполагая, что кто-то другой прочтет написанное,—сравните жанры дневника или записных книжек;

3) ориентированность речевого акта: высказывание или даже целый документ может иметь одно направление — от пишущего (говорящего) к читающему (слушающему); таковы, например, жанры устава, закона, рекламы, устного и письменного объявления. Другие же виды речевой деятельности двунаправленны, например диалогическая речь: ведущие беседу люди произносят реплики, вопросы, получают на них ответы, сами в свою очередь выслушивают то, что говорит им собеседник, и т. д.;

4) число воспринимающих речь: для лингвистических характеристик речи, оказывается, важно, адресовано ли ваше высказывание одному слушателю (скажем, вашему другу) или же многим (сравните ситуации «лектор — аудитория», «писатель — читатели»);

5) контактность речевого акта (выше мы уже говорили о беседе за столом и разговоре по телефону).

Комбинация этих факторов дает $2^5 = 32$ типа речи.

---

[1] Историко-филологические исследования. Сборник статей к 75-летию академика Н. И. Конрада. М., 1967.

Некоторые лингвисты, исследующие языковое общение, отмечают, что не все перечисленные факторы влияют на лингвистические признаки речи. С другой стороны, если рассматривать речевую ситуацию и речевой акт как сочетание собственно языковых и неязыковых компонентов, то можно говорить об отсутствии в этом перечне некоторых необходимых переменных.

Наблюдения над разными формами устной и письменной речи с очевидностью показывают, что для речевого общения людей важны социальные отношения между ними, а если говорить более точно — их социальные роли. Рассмотрим этот фактор подробнее.

КАК В ТЕАТРЕ

Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
В. Шекспир

Мы привыкли употреблять слово *роль* по отношению к актерам. Играть, исполнять чью-то роль — значит не быть самим собой, а на время принимать образ другого человека, вести себя, подражая ему. Тарасова в роли Анны Карениной, Юрий Яковлев в роли Мышкина, роль Гамлета в исполнении Смоктуновского...

Но оказывается, что роли исполняют не только в театре, но и в жизни.

Вглядитесь в поведение людей, и вы увидите, что даже в течение одного дня человек выступает в разных ипостасях. В семье он *сын*, или *отец*, или *муж*, на службе — *подчиненный*, *начальник* или *сотрудник*, в магазине *покупатель*, в парикмахерской или в ресторане — *клиент*, на улице — *прохожий*, в аудитории — *слушатель*, а на трибуне — *оратор* или *лектор*. В чужом доме он *гость*, а в своем — *хозяин*, на приеме у врача — *пациент*, в горсовете — *посетитель*, на суде — *свидетель*, *потерпевший* или *подсудимый* и т. д. Один во множестве лиц, совсем как в известном детском стихотворении:

— Кто по улице идет?
— Необычный пешеход.
У него пятьсот имен:
На заводе мастер он,

В яслях он — р о д и т е л ь,
В кинотеатре —
З р и т е л ь.
А пришел на стадион —
И уже б о л е л ь щ и к он.
Он кому-то с ы н и в н у к,
Для кого-то
Б л и з к и й д р у г...

(Роман С е ф. Необычный пешеход.)

Социальная психология (т. е. наука о поведении человека в социальной среде) называет разные формы общественного поведения человека его р о л я м и, тем самым расширяя и углубляя обыденное понимание этого слова.

Мы не осознаем разность своих ролей. Обратитесь к человеку, стоящему в очереди за газетой, с вопросом:— Какую роль вы сейчас исполняете? Он просто не поймет, о чем его спрашивают. «Большинство людей осознает роли, которые они играют, только в необычных обстоятельствах,— пишет известный американский психолог Т. Шибутани.— Если знакомый намеренно уклонился от приветствия, человек возмущается нанесенным ему оскорблением. Мать начинает осознавать свои прерогативы, когда ребенок отказывается ей повиноваться и таким образом бросает вызов ее авторитету» [1].

Исполнение различных ролей естественно для поведения человека потому, что оно обусловлено удовлетворением жизненных потребностей. Ведь это только ученые связывают формы общественного поведения с разнообразными ролями, а человек просто работает, лечится, воспитывает детей, покупает, стрижется, обедает в столовой, встречается с друзьями, смотрит театральный спектакль. Он ж и в е т. Но так как жизнь эта сложна и многопланова и общается человек с разными людьми, каждый из которых индивидуален — по характеру, привычкам, социальному положению, возрасту, полу и т. п., то повседневное поведение его представляет собой сложное сочетание форм, способов, приемов общения.

Человек в н е общества никаких ролей не играет. Робинзон Крузо, герой всем известного произведения Д. Дефо, на необитаемом острове долгое время оставался наедине с собой, строил ли он жилище, долбил лодку или охотил-

[1] Ш и б у т а н и Т. Социальная психология. Пер. с англ. М., 1969, с. 47.

ся. И только с появлением Пятницы он начинает играть роли — спасителя, а затем господина, воспитателя, учителя и друга, которого Пятница боготворит и беспрекословно слушается. Роль потому и называется социальной, что она мыслима только в обществе людей, в социальном коллективе. Все виды общественного взаимодействия подчинены определенным социальным нормам, в большинстве случаев неписаным, но достаточно строгим и общеобязательным.

Если вам вздумается на уроке насвистывать или потягиваться, громко зевая, т. е. делать то, что вы, может быть, делаете у себя дома, когда никого нет, ваше поведение тут же будет расценено присутствующими как ненормальное, а учитель обоснованно сделает вам замечание. Непочтительный, грубый разговор со старшими, громкие реплики и возня в общественных местах (в троллейбусе, магазине, библиотеке) привлекают к себе внимание, встречают порицание, осуждение.

Если начальник разговаривает с подчиненным в служебной обстановке просительным, заискивающим тоном — он отклоняется от нормы своего ролевого поведения; если же он в своем кабинете начинает кричать на посетителя и стучать кулаком по столу, то это тоже отклонение, но в другую сторону: из начальника, должностного лица он превращается в самодура. В разгаре веселой пирушки странное впечатление производит человек, углубившийся в чтение газеты, но, с другой стороны, если в тишине читального зала он стал бы отплясывать шейк, то выглядел бы еще более странно.

Все это разные случаи нарушения норм общественного поведения. Недаром к людям, которые ведут себя не так, как принято, в просторечии часто применяют словечко *ненормальный* — не такой, как все, действующий не так, как надо, как ожидают члены данного коллектива. На ожидании от человека определенных действий в определенной ситуации и на соответствии его действий этим ожиданиям и строится роль. Это тонко подметил еще Л. Толстой. Описывая жизненный уклад и поведение Анны Павловны Шерер (в романе «Война и мир»), он замечает: «Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже этого не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой».

На ожиданиях и соответствиях ожиданиям основано всякое человеческое общение: от ребенка ждут послушания, от взрослого мужчины — инициативы, а к старику обращаются за советом, потому что ожидают почерпнуть необходимое в его жизненном опыте. От руководителя ждут не столько логически аргументированного, сколько авторитетного мнения, но если то же самое высказывает кто-либо другой, то ожидание меняется: мнение должно быть в первую очередь обоснованным.

Рассказывая, как слушали крестьяне речи Чапаева, как восторженно вздыхали после его выступлений, Дм. Фурманов пишет, что дело было не в том, что́ он говорил, а в том, что это говорил он, Чапаев. При этом Фурманов делится с читателями следующим наблюдением: «Это очень удивительное свойство человеческое, но уж всегда так: случайному и подчас чужому слову известного и славного человека всегда придается больше весу, чем бесспорно умному замечанию какого-нибудь бледненького, незаметного „середняка“».

Описывая поведение человека в терминах социальных ролей, ученые особое внимание обращают на то, что в процессе общения, более того — во всяком организованном действии роли находятся в обязательном взаимоотношении друг с другом, подобно тому как в спектакле любая роль имеет смысл только тогда, когда она связана с поведением других действующих лиц.

Следовательно, роли можно понимать как определенные шаблоны взаимных прав и обязанностей. Приходя в гости, я обязан поздороваться и я имею право на внимание ко мне со стороны хозяев. Учитель по своей профессиональной роли обязан передавать знания ученикам и вправе требовать от них внимания и прилежания (это их обязанность).

В ролевом взаимодействии то, что составляет право для одного партнера, является обязанностью для другого. Права и обязанности тесно связаны с ожиданиями, о которых мы говорили чуть выше. Я имею право на что-то, значит, я ожидаю от других некоторых действий и поступков, которые соответствуют их роли, входят в структуру этих ролей как обязанности. Вполне естественно, что эти ожидания меняются от одной роли к другой: от учителя, скажем, ждут совсем не того, чего ждут от шофера такси.

Каждая роль состоит из специфического набора прав и обязанностей. Своеобразна также система ожиданий, которые предъявляются людьми к конкретной роли. Почти каждая роль имеет специальное обозначение в языке: *покупатель, клиент, пассажир, посетитель, отец, одноклассник* и т. д. Все мы более или менее хорошо знаем, чего ожидать от поведения человека в этих ролях, так что даже простое произнесение наименования роли обычно вызывает представление о комплексе свойственных этой роли прав и обязанностей.

Однако сама по себе социальная роль, взятая отвлеченно от личности, еще не определяет поведения: надо, чтобы она была усвоена личностью (или, как выражаются социологи, интернализована — от латинского *internus* — 'внутренний'). Это усвоение состоит в том, что человек внутренне оценивает свою социальную позицию и вытекающие из нее обязанности. В процессе деятельности каждый из нас занимает обычно множество позиций, так как общается с разными социальными группами людей: *сын* — семейная позиция, *ученик* — школьная, *комсорг* — общественная и т. д. Занимая ту или иную позицию, человек и исполняет определенную роль.

Сама роль независима от индивидуальных черт личности, но понимание роли и, следовательно, ее усвоение и исполнение — индивидуальны. Это проявляется и в речи. Играя, например, роль председателя собрания, один считает нужным насыщать свою речь штампованными оборотами и конструкциями, соответствующими в его понимании данной роли; другой продолжает пользоваться «человеческим» языком и лишь в необходимых (опять-таки с его точки зрения) случаях прибегать к формулировкам, положенным по этой роли *(слово предоставляется, подвести черту, принять за основу* и т. д.).

Социологи и лингвисты обычно отвлекаются от конкретного исполнения какой-либо роли Ивановым или Сидоровым — для них важно описать типичное проявление роли, а это невозможно сделать, если не обобщить индивидуальные особенности ролевого поведения.

Проанализируем для примера роль пациента. Какие права и обязанности ей свойственны, чего мы ожидаем от этой роли?

Обязательный признак этой роли — необходимость обратиться к врачу. Это может быть ощущение недомогания,

боли или желание посоветоваться с врачом относительно своего здоровья, пройти профилактический осмотр и т. п. Этим признаком, выступающим в качестве условия роли пациента, определяются основные формы дальнейшего поведения: жалобы (на боли, недомогание и т. п.), просьбы и, с другой стороны, подчинение требованиям врача, действия в строгом соответствии с его указаниями *(разденьтесь, ляжте на спину, вдохните, задержите дыхание, покажите язык, наклонитесь* и под.).

Свойства поведения обусловливают некоторые речевые особенности: естественно, что жалобы и просьбы должны выражаться соответствующими лексическими и синтаксическими средствами. Кроме того, в отношениях врача и пациента инициатива принадлежит врачу: он расспрашивает пациента, выясняя картину болезни, слушает, заставляет его производить необходимые движения и т. д. А это обстоятельство — асимметрия ролей (более подробно мы поговорим об асимметрии ниже) — оказывает влияние на структуру диалога: врач в любой момент может прервать рассказ пациента о болезни — и это не будет выглядеть невежливым,— попросить его уточнить некоторые детали или замолчать, когда это необходимо (например, во время выслушивания с помощью стетоскопа).

Отсюда преобладание в речи пациента повествовательной и ответной форм, причем часты незаконченные, «рваные» фразы, короткие предложения — ответы на конкретные вопросы врача, нередко состоящие из одного-двух слов: *Хорошо* (на вопрос:— *Как спите?*), *В прошлом году* (на вопрос: — *Когда проходили диспансеризацию*?), и даже *До* или *После* (на вопрос: — *Когда вы ощущаете боли — до еды или после?).*

Признаки, формирующие социальную роль, могут характеризовать не только поведение, но и одежду, внешний облик человека. Простейшие примеры: военная или школьная форма, судейская мантия (в некоторых странах).

Выступая в роли школьника, мальчик или девочка во многих странах мира надевают специальную форму: так положено по этой социальной роли. А дома, переставая играть роль школьника, они снимают форму, переодеваясь в более непринужденную одежду. То же и у военных: в семейной обстановке, вне служебной своей роли, лейтенант или генерал вправе расхаживать в ковбойке или в трени-

ровочном костюме, но невозможно представить себе военного, который появился бы перед строем солдат в пижаме.

Да и другие социальные роли требуют для своего исполнения особой одежды: сравните роли рабочего у станка или у доменной печи, шахтера, спортсмена, космонавта, балерины — каждой из них свойственны специальные требования к одежде. Как правило, это такие роли, которые связаны с профессией человека, они наиболее важны для него и их исполнение занимает бóльшую, существенную часть его жизни. Подобные роли повторяются изо дня в день, и потому все, что связано с их исполнением: одежда, поведение, речь (даже конкретные вопросы и реплики: *Приступаем к уроку; Кто сегодня дежурный?; Откройте тетради* и т. п.), привычны до мелочей.

Если же человек исполняет какую-либо роль в течение длительного времени и сама роль для него существенна, то она оказывает влияние на его свойства как личности: на его поведение, мировоззрение, мотивы его деятельности, на его отношение к другим людям, даже на внешний облик.

Представления о ролевых свойствах и формируют ожидания, которые специфичны для каждой роли. Диссонанс между ожиданиями и реальным осуществлением роли может быть различным по характеру.

Можно привести в качестве примера случай, который произошел со Львом Николаевичем Толстым.

В тульском дворянском собрании любители из местной аристократии ставили пьесу Л. Н. Толстого «Плоды просвещения». На одну из репетиций ждали автора. На улице, у подъезда томился городовой, которому режиссер поручил встретить графа Толстого — сочинителя комедии. Городовой вглядывался в подъезжавших господ, силясь узнать в ком-либо из них графа. Вдруг перед ним появился старик в нагольном полушубке. «Замшелый старичишка — и прет на подъезд.

— Куда? — рявкнул городовой.— Проходи мимо.

— А ежели мне сюда нужно? — ехидно ответил старичишка и еще улыбнулся.

— Проходи, проходи... Живо!

— Я же тебе говорю, что мне нужно... Прийти просили.

— Кто еще просил? Проходи, говорю!

Но старичишка упрямо лез напролом. Городовой разозлился окончательно.

— Тебе что сказано?! — он схватил его левой рукой за шиворот, повернул, встряхнул и оттолкнул прочь.

Но старичишка оказался жилистым и стойким. Не упал, не побежал, а только переступил шага два и обернулся к городовому.

— А все-таки мне туда надо. Там разучивают комедию, и прокурор Давыдов просил зайти помочь, потому что эту комедию написал я — Толстой» (Л. З и л о в. Новеллы о Толстом).

Городовой не пускал Толстого потому, что тот не соответствовал его представлению о внешности и манере поведения г р а ф а.

Это пример расхождения между с т е р е о т и п о м и реальностью. Стереотипы составляют неотъемлемую часть ролевого поведения. В сознании членов общества формируется определенное представление о том, к а к и м д о л ж н о б ы т ь исполнение той или иной роли. Это представление складывается на основе опыта, частой повторяемости ролевых признаков, характеризующих поведение, манеру говорить, двигаться, одеваться.

В рассказе известного русского писателя А. И. Куприна «С улицы» опустившийся полуинтеллигент-попрошайка использует атрибуты различных профессий для успешного и притом вполне респектабельного попрошайничества: *Рассчитываешь всегда на психологию. Являюсь я, например, к инженеру — сейчас бью на техника по строительной части: высокие сапоги, из кармана торчит деревянный складной аршин; с купцом я — бывший приказчик; с покровителем искусства — актер; с издателем — литератор; среди офицеров мне, как бывшему офицеру, устраивают складчину. Энциклопедия!..*

Надо стрелять быстро, чтобы не надоесть, не задержать, да и фараоновых мышей [т. е. полицейских] *опасаешься, поэтому и стараешься совместить все сразу: и кротость, и убедительность, и цветы красноречия. Бьешь на актера, например: «Милостивый государь, минуту внимания! Драматический актер — в роли нищего! Контраст поистине ужасный! Злая ирония судьбы! Не одолжите ли несколько сантимов на обед?» Студенту говорю так: «Коллега! Помогите бывшему рабочему, административно лишенному столицы. Три дня во рту маковой росинки не было!».*

Любопытно, как гибко владеет герой рассказа не только формами социального поведения, но и различными ма-

нерами речи: сравните лексику и строй предложений в его обращениях к актеру (повышенная эмоциональность, мелодраматизм интонаций) и к студенту (дружески-почтительный тон).

Различия в языке, обусловленные различиями социальных ролей, часто осознаются людьми. Представление о том, как должен говорить и обыкновенно говорит человек такой-то профессии, такого-то положения, занимающий такую-то должность и т. д., также имеет форму стереотипа. Недаром в языке существуют обороты: *Оставь свой прокурорский тон; Кричит, как базарная баба; Говорит, как учитель; командирским голосом; тоном провинившегося школьника* и т. п.

Исполняя ту или иную конкретную роль, человек сознательно или неосознанно придерживается определенной манеры говорить, которая «предписана» ролевыми ожиданиями и ощущается им самим как наиболее соответствующая данной роли. Сознательное подчеркивание своей роли выражается в особенностях речевого поведения. Сравните примеры:

Кирсанов [батальонный командир] *заметил меня, юнкера, и потому, чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Болхова и глядя на барабан, спросил* [у Болхова]:

— *Что, устали, Николай Федорыч?*

— *Нет, ведь мы...— начал было Болхов.*

Но опять, должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос:

— *А ведь славное дело было нынче?* (Л. Толстой. Рубка леса);

Он [лакей Петр] *совсем окоченел от глупости и важности, произносит все е как ю: тюпюрь, обюспючюн* (И. С. Тургенев. Отцы и дети).

Характерно, что, даже выходя из роли, говорящий иногда продолжает пользоваться теми же речевыми средствами, которые он употребляет при исполнении этой роли.

Таков, например, Макар Девушкин в известной повести Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Он мелкий служащий, чиновник, и речь его пестрит канцелярскими оборотами и словами. Даже в письмах к Вареньке Доброселовой он использует выражения *Не полагайте чего-нибудь предосудительного; Книжку вашу, полученную мною 6-го сего меся-*

ца, спешу возвратить вам...; В нарушении общественного спокойствия никогда не замечен и т. п.

Герой Аркадия Райкина, который требует, чтобы признание в любви было оформлено в виде заявления, с приложением двух фотокарточек, смешон тем, что в интимную жизнь он вносит формы служебных отношений, что и в исполнении «приватных» ролей он придерживается речевых оборотов, которые уместны только в рамках ролей «начальник — подчиненный».

Конечно, подобные ситуации не выдуманы, а взяты из жизни и заострены, гиперболизированы. В том, что это вполне реальное явление, убеждают нас социологические исследования, в которых приводятся многочисленные факты влияния основной, обычно профессиональной, роли на все поведение человека. Художники слова всегда стремились показать профессиональное «лицо» героя через его речь, причем не только в служебной, но и в бытовой обстановке. Такой прием используется, например, Л. Толстым в характеристике Каренина: безжизненность и выспренность его монологов говорит многое о внутреннем мире этого сановника.

Если роль чужда личности, неорганична для нее, если человек слишком сознает себя в этой роли, то его речевое поведение бывает неестественным, напряженным: *Она* [киноактриса Таня] *выступала там, в этом институте, вроде рассказывала что-то о себе и, так сказать, «делилась творческими планами». Выступать она не умела, сильно путалась, говорила какие-то шаблонные, свойственные «людям искусства» слова: «где-то по большому счету» и «волнительно» вместо «волнующе» — и произносила прилагательные мхатовским говорком, то есть так, как ни в жизни, ни на экране никогда не говорила...* (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора).

Особенно неуютно чувствует себя человек, если несвойственная ему, навязанная извне роль плохо согласуется с его профессиональной ролью. Человек, привыкший распоряжаться и командовать, часто не может смириться с ролью просителя; работник бухгалтерии сталкивается с непреодолимыми затруднениями, исполняя чуждую ему роль докладчика; учитель, привыкший к уважению со стороны учеников, выступая в роли пассажира или покупателя, особенно болезненно переживает бестактность кондуктора или продавца и т. д.

Часто определенная, и притом постоянная роль бывает связана не с профессией или должностью, а с тем неофициальным, но признаваемым другими местом, которое человек занимает в коллективе: в классе, в бригаде, в кружке друзей — или в регулярно повторяющихся ситуациях с более или менее стабильным составом участников. «В дружеской компании, собравшейся приятно провести вечер, нет никакой формальной регламентации и в принципе люди могут вести себя как угодно. Но, если внимательно присмотреться (и особенно если эти люди собираются не впервые), в ней можно заметить определенное разделение функций: кто-то командует, кто-то блещет остроумием, кто-то создает фон. И тому, за кем закрепилась роль весельчака, уже не так-то просто от нее отказаться. На него «давят» ожидания окружающих, сложившиеся на основе прошлого опыта» (И. Кон. Люди и роли.— «Новый мир», 1970, № 12).

В очерке М. Горького «Мужик» описана компания городских интеллигентов, которые регулярно собираются вместе и обсуждают разные темы. Среди них выделяется один юноша, Сурков, острослов и спорщик, который «играл в кружке роль дрожжей. Маленький, тонкий человечек, быстрый в движениях, с круглой головкой, на которой коротко остриженные и жесткие волосы стояли щеткой,— он был такой живой, задорный, дерзкий и даже немножко злой... Ему, очевидно, ужасно нравилось раздражать людей, и он ради этого положительно не щадил себя... И каждый раз, когда спор кончался, все чувствовали, что в головах как будто посвежело, как будто с мозга пыль стерли этим нелепым, но всегда острым, даже блестящим спором». В том, что это именно социально обусловленная роль Суркова, пусть нравящаяся ему и исполняемая им с блеском, а не его импульсивное поведение, становится совершенно очевидно, когда автор показывает Суркова в других обстоятельствах, например дома. Сравните: «— Это хорошо, если вы серьезно решили,— сказал Шебуев, с удовольствием замечая, что юноша [Сурков] у себя дома держится лучше, чем при людях, и гораздо меньше остроумничает».

Роль может быть и вполне «добровольной», не навязываемой прямо ожиданиями других людей. Но в результате многократных повторений она становится как бы постоянной маской человека и нередко реализуется в сопровождении одних и тех же слов, жестов и т. п. Так, Иван

Петрович Туркин, персонаж рассказа А. П. Чехова «Ионыч», «все говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: *большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...*».

Социальная роль находится во взаимодействии с другой переменной, обусловливающей речевое поведение,— с ситуацией.

Эта взаимосвязь проявляется двояко. Во-первых, человек в одной и той же ситуации может исполнять разные роли: в магазине он может быть или покупателем, или продавцом, на стадионе — или игроком, или болельщиком, или судьей и т. д. Во-вторых, один и тот же человек в отношениях с одними и теми же людьми играет разные роли в зависимости от ситуации. Например, если отец — учитель, а сын учится в его классе, то только вне школы старший играет роль отца, а младший — роль сына. В классе же они — учитель и ученик. И если каждому в классе учитель говорит *вы* и называет по фамилии, то и к собственному сыну он обязан обращаться точно так же: эту обязанность диктует ему его роль. Сын также не говорит учителю *папа* и *ты*, а вынужден — по его роли ученика — употреблять имя и отчество и *вы* (как и все другие ребята, его одноклассники).

Бывает так, что ситуация и роль приходят во взаимное противоречие. В этих случаях человек испытывает трудности при общении, он как бы выбивается из колеи стандартного ролевого поведения. Происходит наложение определенной социальной роли, которую человек привык исполнять по отношению к другому лицу, и ситуации, не соответствующей исполнению этой роли.

Герой повести Достоевского «Двойник» Яков Петрович Голядкин встречает в ресторане двух своих сослуживцев, «ребят еще молодых и по летам и по чину. Герой наш был с ними ни то ни се, ни в дружбе, ни в открытой вражде. Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон; дальнейшего же сближения не было, да и быть не могло», т. е. мы бы сказали, что Голядкин и молодые чиновники находились в нейтрально-деловых отношениях, при которых вполне естественным было чувство некоторой дистанции.

Встретясь же с «ребятами» не на службе, а в неофициальной обстановке, Голядкин испытывает двойственность своего положения: с одной стороны, он должен со-

хранить дистанцию, свойственную его служебным отношениям с молодыми людьми (а только этими отношениями он с ними и связан), с другой же, ему хочется быть неофициальным, проявить к сослуживцам дружеское внимание (он же — старший по возрасту и опыту!).

Совместить эти две роли оказывается трудным. Вот как это проявляется в поведении и речи Якова Петровича: «Встреча в настоящее время была крайне неприятна Голядкину. Он немного поморщился и на минуту смешался.

— Яков Петрович, Яков Петрович! — защебетали оба регистратора,— вы здесь? по какому...

— А! это вы, господа! — перебил поспешно господин Голядкин, немного сконфузясь и скандализируясь изумлением чиновников и вместе с тем короткостию их обращения, но, впрочем, и делая развязного молодца поневоле.— Дезертировали, господа, хе-хе-хе!.. [Голядкин имеет в виду, что юнцы сбежали со службы в ресторан]. Тут даже, чтоб не уронить себя и снизойти до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных границах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу; но популярность в этом случае не удалась господину Голядкину, и, вместо прилично-короткого жеста, вышло что-то совершенно другое.

— Ну, а что, медведь наш, сидит?

— Кто это, Яков Петрович?

— Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?.. Я говорю про Андрея Филипповича [начальника], господа...»

Каждое общество имеет определенный набор социальных ролей, своеобразие которого обусловлено видами и формами взаимодействия людей, составляющих общество, спецификой данной национальной культуры. Роли и отношения между ними накладывают ограничения на язык, используемый при исполнении ролей. Обычно эти ограничения не касаются «проигрывания» какой-то конкретной роли, а отражают некоторые типологические их несходства.

Например, в японском обществе выбор той или иной глагольной формы зависит не от конкретной роли, которую исполняет говорящий, а от того, с к е м он говорит — со «своим» или с «чужим», с человеком, занимающим более высокое или более низкое, чем он сам, положение. Различие по признакам «свой — чужой», «высший — низший» делит все свойственные японскому обществу роли на четыре груп-

пы. Каждая из них характеризуется использованием глагольных форм только одного типа.

Нечто подобное можно наблюдать и в русском языковом обществе: при обращении к старшему (по возрасту, должности, званию и т. п.) или к постороннему принято употреблять глаголы в форме множественного числа (*видите, говорите*), а при обращении к детям, к членам семьи, к друзьям — формы единственного числа (*говоришь, видишь*).

Эти различия отражают деление всех ситуаций общения на симметричные и асимметричные.

Об асимметрии мы уже вскользь упоминали, когда анализировали роль пациента. Теперь же попытаемся составить более четкое представление о симметричности и асимметричности ролей.

Эти понятия характеризуют все виды человеческих контактов. Симметричны такие отношения, участники которых имеют одинаковые социальные признаки: равное социальное положение, образование, примерно одинаковый возраст, один и тот же пол и т. д. Напротив, асимметричны отношения, участники которых различаются хотя бы одним из этих признаков.

Отношения одноклассников, партнеров по спортивным соревнованиям (если они до этого ничего не знают друг о друге,— могут быть ведь и такие случаи, когда звания и слава одного «давят» на другого), соседей по больничной палате — симметричны. Школьник — учитель, спортсмен — тренер, больной — врач — примеры асимметричных отношений.

Характер ситуации может быть обусловлен не только социальным положением, возрастом и полом говорящих, т. е. их постоянными или «долговременными» признаками, но и их ролями в данной ситуации, т. е. признаками меняющимися. Например, в случае просьбы, одолжения и т. п. между участниками коммуникативного акта (т. е. акта общения) устанавливаются асимметричные отношения.

Я уже жду недоуменного вопроса от читателя:— Все это, может быть, и важно для социологии. Но ведь эта книга — о языке. Какое дело языку до симметрии и асимметрии ролей?!

А вот какое. Если ты учащийся, школьник, ты не скажешь учителю:— *Борис, что ты нам сегодня по истории задал? Я не успел записать.*

Или, свистнув под окном директорского кабинета, не крикнешь:— *Саня, выходи, в хоккей погоняем!*

Если твоих родителей вызвали в школу побеседовать о твоем поведении и успеваемости, то ты во время разговора вряд ли позволишь сделать родителям два-три таких замечания, какие они, может быть, делают тебе:— *Опять руки в карманы засунул* (отцу) или,— *Вытри ноги, не в сарай входишь!* (матери).

Подобная фантастическая ситуация описана в известном рассказе Виктора Драгунского «Бы». Герой этого рассказа, первоклассник Денис Кораблев, представляет себе, как было бы здорово, если бы в их семье поменялись роли и не бабушка и родители «воспитывали» бы его, а он их. Вот как он говорил бы с ними (в точности такими словами, с какими обычно они обращаются к нему):

Например, мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал:

— Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости! Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа? Вылитый Кащей. Ешь сейчас же, тебе говорят! — И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду:

— Быстрее! Не держи за щекой! Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует! И не раскачивайся на стуле!

И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже закричал:

— Ага, явился! Вечно тебя надо ждать! Мой руки сейчас же! Как следует, как следует мой, нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щеткой три и не жалей мыла. Ну-ка покажи ногти! Это ужас, а не ногти! Это просто когти! Где ножницы? Не дергайся! Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка... Вот так. Теперь садись к столу.

Он бы сел и потихоньку сказал маме:

— Ну как поживаешь?

А она бы сказала тоже тихонько:

— Ничего, спасибо.

А я бы немедленно:

— Разговорчики за столом! Когда я ем, то глух и нем! Запомните это на всю жизнь. Золотое правило. Папа! Положи сейчас же газету, наказанье ты мое!

И они сидели бы у меня как шелковые, а уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул бы руками и заголосил:

— Папа! Мама! Полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку! Каков вид! Грудь распахнута, шапка на затылке! Щеки красные, вся шея мокрая! Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла? А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла? Что? Это клюшка? Убери ее сейчас же с моих глаз...

Можно себе представить и такую ситуацию, в которой направление ролевой асимметрии изменяется следующим образом: тот, кому по роли надлежит командовать, требовать, приказывать, крайне нерешителен, надоедает подчиненным своими сомнениями, без конца обращается к ним с просьбами, жалобами. Его речь будет в этом случае и по лексике, и по тону сильно отличаться от того, как следует говорить при нормальном исполнении его роли.

Меняется строй речи и в том случае, если нарушается симметрия ролей. Скажем, встречаются старые школьные товарищи, долгое время не видевшие друг друга и ничего друг о друге не знающие. Как правило, то, что они узнают в ходе разговора, не влияет на их отношения: ну, подумаешь, один стал профессором, а второй — обыкновенный инженер! Ведь друг для друга они все те же Колька и Эдик.

Но так бывает не всегда. Иной раз роли из симметричных — в процессе общения, по мере поступления новой информации — превращаются в асимметричные: один смотрит на другого как на лицо более уважаемое, достигшее социальных высот.

Именно с такой ситуацией сталкиваемся мы в рассказе Чехова «Толстый и тонкий». Помните, с какими словами бросаются друг к дружке два приятеля — толстый, который только что пообедал в ресторане, и тонкий, сошедший с поезда, навьюченный чемоданами?

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидав тонкого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Речь тонкого оживлена, он так и сыплет подробностями общей их гимназической жизни, вспоминает прозвища, которыми их наделяли в гимназии, представляет толстому жену и детей. И все это непринужденно, по-свойски. Но...

только до тех пор, пока тонкий не узнает, кем же стал толстый: тайным советником! Две звезды имеет!

И все. Мгновенно меняется весь облик тонкого, а речь приобретает подобострастный, лакейский оттенок: *Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой: казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились...*

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства, и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание?

— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съежившись.— Милостивое вниманив вашего превосходительства... вродв как бы живительной влаги...

Эти примеры наглядно показывают, что речь человека в сильной мере обусловлена тем, какую социальную роль он играет — равную роли партнера, более высокую или более низкую. В языке есть и средства, которые обозначают разные типы ролевых отношений и которые используются в зависимости от того, каковы отношения между собеседниками.

В русском языке, например (как, впрочем, и во всех других), существуют слова и обороты, обозначающие действия «высшего» по отношению к «низшему» [1]: *командовать, приказывать, диктатура, изгнать; читать мораль, нравоучения; нагоняй, обязать, принуждать, протекция, отозвать* (например, *отозвать посла*), *разрешить, сместить, утвердить, экзаменовать* и мн. др.,— и действия «низших» по отношению к «высшим»: *подчиняться, жаловаться, преклоняться, боготворить, выслуживаться, иждивение, ослушаться, отчитываться, рапортовать, умилостивить* и т. п.

Есть и такие слова, в которых указанные отношения («высший—→низший» или «низший—→высший») не составляют центра значения, а как бы сопутствуют основному смыслу слова и потому не сразу могут быть замечены.

[1] Эти термины употребляются здесь условно, обозначая различия между людьми в их положении на общественной, служебной, возрастной и т. п. шкалах.

Например, близкие друг другу по смыслу глаголы *грубить* и *дерзить* обозначают асимметричные отношения между участниками ситуации: грубят и дерзят с т а р ш и м — по возрасту, чину, положению и т. п. *Мальчик плохо учится, грубит учителям; Сын дерзит отцу.* Нельзя сказать: *Учитель грубит ученикам; Отец дерзит сыну.*

Любопытно, что выражения *груб с кем-либо* и *дерзок с кем-либо*, внешне соотносительные с глаголами, не синонимичны друг другу. *Груб с кем-либо* социально не ориентировано. Можно сказать: *Начальник груб с подчиненными; Мальчик груб с родителями; Ты вчера был так груб со мной* (в разговоре друзей), а выражение *дерзок с кем-либо* употребляется так же, как и глагол *дерзить: Сын дерзок с матерью; Подросток дерзок с учителями.* Явно невозможно: *Мать дерзка с сыном; Учитель дерзок с учениками.*

Слово *окрик* нормально употребляется при отношениях «высший⟶низший»: *начальственный окрик, окрик генерала; Вы этими окриками немногого добьетесь от сына <от подчиненных>.*

Глагол *гневаться* применим только в отношении лица, занимающего высокое социальное положение (в сказках *царь гневается,* а не просто выходит из себя или злится). *Гневить* могут лица, занимающие «низшее» социальное положение, лицо, занимающее по отношению к ним положение более высокое; например: *Не гневи бога* (говаривали в старину); *Зачем ты гневишь отца?* В литературе мы не встретим фразы вроде таких: *Крестьяне разгневались на царя за его жестокость; Сколько раз барину говорили: не гневи лакеев!*

Слова *прошу* и *попрошу* различаются приставкой *по-*. Казалось бы, ничтожное различие: приставка сообщает глаголу значение будущего времени. Сравните: *Прошу у него книгу — Завтра попрошу у него книгу.* Но не только временем различаются две эти формы. В некоторых стилях речи глагол *попрошу* (именно в 1-м лице единственного числа) употребляется со значением большей категоричности, чем его бесприставочная пара, как близкий к *требую, предписываю.*

Если кто-то говорит: *Попрошу (оставаться на местах, предъявить билеты, посторониться...),* — он только одной этой формой заявляет о себе как об и м е ю щ е м п р а в о на императивное (повелительное) обращение. В ситуации проверки билетов роли пассажиров и ревизора асимметрич-

ны: он может контролировать их, а они обязаны подчиняться его «попрошу» и предъявлять билеты. Если же эту глагольную форму произнесет кто-либо из пассажиров (например, в случае грубости ревизора пассажир скажет: *Попрошу не кричать на меня!),* то он тем самым заявляет о своем праве на уважительное к себе отношение, он как бы выходит из роли подконтрольного и ставит себя в равное с ревизором гражданское положение.

Заметно обусловлена типом ролевых отношений и н т о н а ц и я речи. Ср. у Достоевского: «Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу, и вслед за тем послышался голос форменно-ласковый, такой, каким говорят начальники во всех служебных местах с новопоступившими подчиненными» («Двойник»).

Значение интонации в проигрывании различных социальных ролей легко показать на отрицательных примерах.

Во дворе дома ребятишки играют в войну. Кричат, бегают, «стреляют», спорят, кто «убит»,— словом, обычная, всем знакомая картина. Один из мальчиков пытается у к а з ы в а т ь другим, что надо делать в таком-то случае, куда бежать, где прятаться, в какой момент нападать на «противника»... Ребята не слушают его, а самый независимый по виду парнишка недовольно кричит:

— *Ты чего командуешь? Подумаешь, раскомандовался! Без тебя знаем, как надо!*

Мальчик взял на себя роль, не «санкционированную» другими, и, пытаясь исполнять ее, применил речевые средства — главным образом интонационные,— которые соответствуют этой роли. Именно т о н речи явился тем признаком, по которому товарищи осудили самовольно взятую им на себя роль командира и отвергли эту роль в его «исполнении» как не соответствующую их ожиданиям.

Другой пример — иллюстрирующий контраст между тоном речи и исполняемой ролью.

В пьесе Евгения Шварца «Дракон» Бургомистр, обманом захвативший президентскую власть, разговаривает со своими подчиненными приторно-ласковым голосом. Тон речи и ее содержание диссонируют: зло, насилие, жестокость совершаются под прикрытием словесного благообразия и показной приветливости. Особенно рельефно проявляется эта черта в диалоге Бургомистра с его сыном Генрихом. Они беседуют не просто как отец и сын, а как президент, одного взгляда которого достаточно, чтобы заточить в

тюрьму сотни невинных, и свежеиспеченный глава города, подкапывающийся под власть папаши. Тем замечательнее интонации их разговора, особенно речи президента-отца:

[Бургомистр:] *Ну, сыночек, ну, мой крошечный, а теперь поговорим о наших делишках. За тобой должок, мое солнышко.*

[Генрих:] *Какой, папочка?*

[Бургомистр:] *Ты подкупил трех моих лакеев, чтобы они следили за мной, читали мои бумаги и так далее. Верно?*

[Генрих:] *Ну что ты, папочка!*

[Бургомистр:] *Погоди, сынок, не перебивай. Я прибавил им пятьсот талеров из личных своих средств, чтобы они передавали тебе только то, что я разрешу. Следовательно, ты должен мне пятьсот талеров, мальчугашка.*

[Генрих:] *Нет, папа. Узнав об этом, я прибавил им шестьсот.*

[Бургомистр:] *А я, догадавшись, тысячу, поросеночек. Следовательно, сальдо получается в мою пользу. И не прибавляй им, голубчик, больше... Ах ты мой сыночек! Ах ты мой славненький! На папино место ему захотелось!*

[Генрих:] *Ну что ты, папа!*

[Бургомистр:] *Ничего, мой малюсенький!..*

Евг. Шварц гиперболизирует несоответствие роли и речи, заостряя это несоответствие и тем самым добиваясь художественной выразительности.

Как мы видим, та роль, которую человек играет в определенной ситуации, диктует ему выбор и употребление наиболее подходящих для этой роли языковых средств. Несоответствие роли и речи воспринимается как диссонанс в поведении человека, как нарушение некоей социально-речевой нормы.

Набор социальных ролей неодинаков в разных культурах, у разных народов. Этим набором различаются и отдельные люди: чем шире круг общения, с чем большим числом социально неоднородных индивидов и групп взаимодействует человек, тем богаче используемый им набор социальных ролей, или, иначе, **ролевой диапазон**. Большое значение имеет и культурный уровень личности, ее интеллектуальное развитие: диапазон ролей широк у

образованных, социально активных людей и, напротив, беден у людей низкой культуры, у социальных «отшельников», ведущих замкнутый образ жизни. Соответственно и шкала речевых средств, «обслуживающих» ту или иную роль, выглядит в двух этих крайних случаях резко неодинаково, контрастно: гибкость и разнообразие средств у первых и скудость их у вторых.

Ролевой диапазон подвижен, он не дан человеку раз и навсегда, а развивается вместе с развитием личности, вместе с ее социализацией.

Что же такое социализация? Как влияет она на расширение контактов данного человека с другими? Как происходит усвоение ролей и связанных с их исполнением способов речевого поведения? Выяснению этих вопросов посвятим следующую главу.

«ПУТЬ В ОБЩЕСТВО» И УСВОЕНИЕ ЯЗЫКА

Создает человека природа, но развивает и образует его общество.

В. Г. Белинский

Рождаясь, ребенок еще не вполне человек в социальном смысле этого слова. Он представитель рода человеческого только биологически. Социальные свойства и функции человек приобретает в процессе воспитания и общения с другими людьми. По выражению советского психолога лауреата Ленинской премии А. Н. Леонтьева, «каждый отдельный человек учится быть человеком. Чтобы жить в обществе, ему недостаточно того, что дает ему природа при его рождении. Он должен еще овладеть тем, что было достигнуто в процессе исторического развития человеческого общества» [1]. Люди учатся чувствовать, общаться друг с другом, мыслить и играть различные социальные роли не в результате биологического созревания, а в процессе социального взаимодействия.

По наследству может передаваться, например, особенность строения черепа, цвет глаз, даже тембр голоса, но все формы поведения не наследуются биологически — они усваиваются с развитием человека. Это относится и к речевому поведению, и к самой способности говорить.

[1] Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972, с. 408.

Произносить звуки и слова и понимать то, что говорят окружающие, ребенок учится в человеческом обществе. Если же в самом раннем возрасте изолировать его от людей, то речь у него не развивается. Больше того, по своему поведению и формам движений этот ребенок ничем не будет напоминать человека. В том, что это так, ученые убедились на примерах детей, которые совсем маленькими попали к животным и росли в их обществе.

Однажды — это было в 1920 г.— индийский миссионер нашел в джунглях, в волчьем логове, двух девочек разного возраста: восьми и полутора лет (так определили ученые после тщательного обследования детей). Каждая из девочек была похищена волчицей, по-видимому, почти сразу после своего рождения. Хотя оба ребенка обладали физическими свойствами человеческих существ, они вели себя во многом подобно волкам: передвигались на четырех ногах, могли есть только молоко и сырое мясо, прежде чем взять в рот пищу, тщательно ее обнюхивали. Дети хорошо видели в темноте, боялись огня и способны были чуять запах свежего мяса на расстоянии до 70 метров.

Единственный звук, который каждая из девочек могла издавать, был волчий вой, во всем разнообразии его модуляций. Девочки не умели смеяться, у них не были развиты жесты и мимика, обычные для детей их возраста.

Младшая, которую назвали Амала, вскоре умерла, так и не приспособившись к новым условиям существования. А старшая, Камала, прожила до 1929 г., находясь постоянно под наблюдением врачей и психологов. За все это время она выучила немногим больше тридцати слов, научилась понимать простые команды и отвечать *да* и *нет*. Совокупность этих навыков настолько элементарна, что ни о каком усвоении норм речевого поведения (как и всех других видов общественного поведения) здесь говорить не приходится.

Этот случай свидетельствует о том, что приобщение человека к себе подобным начинается с очень раннего возраста. Если время упущено и ребенок первые годы жизни находится в изоляции, то у него трудно — а в полной мере и невозможно — развить свойства, присущие человеку как члену общества, как социальной единице.

При этом оказывается, что уровень культуры и цивилизации той среды, в которой первоначально воспитывается ребенок, мало существен, важно лишь, чтобы это были

люди, а не животные. Примером, доказывающим это положение, может быть история двухлетней гуайякильской девочки, которую нашел французский этнограф Велляр в Парагвае на стоянке, покинутой племенем гуайякилей (одно из самых отсталых племен Южной Америки). Он взял ее с собой и поручил воспитывать своей матери. По прошествии 20 лет девочка по своему развитию ничем не отличалась от интеллигентных европейских женщин. Сейчас она занимается этнографией, говорит на французском, испанском и португальском языках.

Маугли, герой известной каждому школьнику необыкновенной истории, которую рассказал английский писатель Р. Киплинг, оказался в джунглях не в самом раннем возрасте: хотя автор прямо не говорит нам, какое время прожил Маугли среди людей, одно то, что мальчик сам у ш е л из дома и попал к зверям, свидетельствует о том, что по крайней мере д о г о д а Маугли воспитывался людьми. Это обстоятельство должно объяснить нам, почему ребенок по своему поведению в значительной мере оставался человеком, хотя долгое время находился среди животных и общался исключительно с ними.

Таким образом, первые шаги в человеческом обществе ребенок делает еще до того, как он в состоянии стать на ноги и научиться ходить. Процесс с о ц и а л и з а ц и и — так ученые называют приобретение человеком свойств социальной личности — начинается буквально с момента рождения.

Советский психолог Л. С. Выготский неоднократно подчеркивал, что общение ребенка с окружающим миром уже в первые месяцы его жизни является основной формой его «деятельности», что отношение его к вещам с самого раннего возраста опосредствуется общением со взрослыми и что все формирование его психического «я» происходит в процессе этого общения. Выготский отмечал, что психическое развитие человека протекает путем усвоения им о б щ е ч е л о в е ч е с к о г о опыта, передаваемого через предметную деятельность и прежде всего через язык.

В течение всей жизни человека — а особенно интенсивно в первые годы — происходит непрерывный процесс его адаптации, приспособления к окружающим людям. Ребенок усваивает нормы поведения, с возрастом расширяется круг социальных ролей, которые он умеет «играть», и типов ситуаций, в которых он чувствует себя естественно и

непринужденно. При этом путем многократных повторений он отбирает то, что принято в данной социальной среде, и отвергает чуждое, не характерное для той группы (или групп), членом которой он является.

По мнению советских ученых, процесс социализации состоит из трех основных этапов: (1) первичная социализация, или социализация ребенка; (2) промежуточная, или псевдоустойчивая, социализация — социализация подростков; (3) устойчивая, целостная социализация, которая знаменует собой переход от юношества к зрелости.

По мере дифференциации и усложнения отношений растущего человека с окружающим миром умножается число социальных общностей, к которым одновременно принадлежит один и тот же индивид. В самом деле, до года ребенок просто дитя своих родителей, и это одна из немногих его социальных ролей. Если папа с мамой работают, а бабушки нет, то его отдают в ясли, и, таким образом, он входит в еще одну (кроме семьи) социальную общность. А дальше — группы сверстников во дворе и в детском саду, школьный класс, пионерская организация и комсомол, кружки, спортивные секции, пионерлагеря. После окончания школы он становится членом таких социальных коллективов, как завод, колхоз, армия, вуз. Он не только участвует в совместной деятельности людей, составляющих данную конкретную группу, но и наблюдает, как исполняют они различные роли. Поэтому, становясь взрослым, человек имеет представление о разнообразных социальных ролях, включая и такие, которых он сам ни разу не исполнял.

Все это имеет прямое отношение к усвоению языка. Процесс социализации человека включает в себя овладение речью, и не вообще, а речью данной социальной среды, нормами речевого поведения, свойственными этой среде. С другой стороны, и сама социализация происходит во многом благодаря языку, его средствами.

Механизм того, как ребенок усваивает язык и как он начинает его использовать, очень сложен и не вполне доступен прямому наблюдению. Ведь мы только слышим речь (или видим текст), а то, как она возникает, как мысль воплощается в слово, мы даже с помощью средств современной науки увидеть пока не можем. И сам говорящий не может проанализировать, как рождаются в нем слова

и звуки,— он делает это неосознанно, подчиняясь выработанному в раннем детстве механизму порождения речи.

В том, что процесс порождения речи обычно неосознан (конечно, он подвластен сознанию в том смысле, что можно говорить, взвешивая каждое слово, тщательно вслушиваясь в него, но, во-первых, это совсем не одно и то же, что сознательный контроль над порождением речи, а во-вторых, для нормального говорения такая ситуация необычна),— легко убедиться на примерах бреда: человек потерял сознание, но может говорить, и в некоторых случаях достаточно связно. Сравните также говорение во сне, под гипнозом и т. п.

Получается как будто противоречие: язык неразрывно связан с мышлением, он воплощает в словах, в высказываниях то, что рождается в мозгу,— и он же, оказывается, независим от сознания. Да, от с о з н а н и я — но не от м ы ш л е н и я: и во сне, и под гипнозом, и в беспамятстве человек не утрачивает способности м ы с л и т ь (пусть в слабой, «угасающей» степени), он теряет только способность сознательно контролировать свою деятельность.

Именно потому, что две эти человеческие способности — мыслить и говорить — теснейшим образом взаимосвязаны, и трудно постичь механизм языка. И хотя за последние десятилетия наука о мозге обогатилась рядом открытий, которые приподняли завесу таинственности над некоторыми явлениями человеческой психики, казавшимися раньше непостижимо загадочными,— глубинные процессы, и в частности процессы усвоения языка и автоматического владения им, еще ждут своих исследователей.

Но лишенные возможности проникнуть внутрь мозга для того, чтобы инструментально исследовать лингвистическое знание и процесс порождения речи, языковеды научились м о д е л и р о в а т ь структуру языка и речевое поведение человека на основе тех многочисленных фактов, которые получены при наблюдении. Такие факты начинают появляться с первых криков ребенка, на самой начальной стадии его социализации.

Уже в раннем возрасте дитя познает действительность с помощью языка: хотя оно само еще не умеет говорить, но понимает, когда взрослые указывают ему: *Вот кукла. Это кошка.* Слово, и даже не отдельное слово, а высказывание в целом, на этой стадии очень тесно связано с действительностью. «На начальных этапах,— пишет один из ис-

следователей, проф. А. Р. Лурия,— связная речь понимается ребенком только в пределах определенной действенной ситуации, и пусковое значение обращенной к нему речи определяется не столько связью между собой слов, сколько упомянутого во фразе с определенной наглядно-действенной ситуацией, возникающей при восприятии того или иного предмета» [1].

О тесной связи высказывания с конкретной ситуацией (в сознании маленького ребенка) свидетельствуют и специальные эксперименты. Ребенок понимает фразу в целом, а не пословно. Например, вместо часто повторяемой фразы *Положи мячик на стол* малышу говорят: — *Положи мячик под кровать,*— но он все равно кладет его на стол, как и раньше.

Лишь в два-три года этот ситуационный характер понимания связной речи начинает отступать на задний план. Формируется собственная речь ребенка, обладающая определенной структурой. Теперь он не только слушает, но и говорит, т. е. от пассивного восприятия речи переходит к активному ее освоению. Этот переход протекает в полном согласии с психическим развитием маленького человека: как указывал Л. С. Выготский, в раннем возрасте (до двух лет) преобладает в о с п р и я т и е, а все другие психические процессы — память, внимание, мышление, эмоции — осуществляются через восприятие. У детей-дошкольников преобладает п а м я т ь, а активное овладение языком невозможно без ее развития. В школьном возрасте на первое место выдвигается м ы ш л е н и е [2].

Л. С. Выготский теоретически обосновал и подтвердил экспериментами, что значения слов не одни и те же у детей разного возраста, что они меняются с развитием ребенка. Скажем, в раннем возрасте слово *завод* еще не вызывает никаких ассоциаций, оно лишь звук для младенца; у мальчика лет 3—4, отец которого работает на заводе, оно связывается с образами труб, станков и т. п.; учащийся начальной школы имеет уже более четкое представление о содержании слова.

---

[1] Л у р и я А. Р. Развитие речи и формирование психических процессов.— В кн.: Психологические исследования в СССР. М., 1959, с. 540.

[2] См.: В ы г о т с к и й Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956, с. 431 и след.

В овладении языком проявляются не только возрастные различия детей, но и особенности той социальной среды, в которой воспитываются, скажем, сын полярного летчика и сын рабочего, крестьянская девочка и дочь горожанина. Уже на самой ранней стадии развития, когда ребенок, по словам известного психолога В. Штерна, «делает величайшее открытие в своей жизни», а именно — «открывает, что каждая вещь имеет свое имя»,— есть условия к социально различному усвоению языка. В разных по своей профессиональной ориентации и культурному уровню семьях неодинакова употребительность некоторых (одних и тех же) слов, понимание их смысла, их эмоциональная оценка. Одна и та же вещь имеет подчас разное наименование в семье токаря — и геолога, музыканта — и строителя.

Когда у пятилетней дочери слесаря, заявившей, что она не любит слушать игру на скрипке, спросили, какой инструмент нравится ей больше всего, она, чуть подумав, ответила: — *Пассатижи.*

В языковом сознании ребенка, растущего в семье музыканта, «техническое» значение слова *инструмент* вряд ли будет на первом месте: скорее всего инструмент для него — это рояль, скрипка и т. д.

В своей знаменитой книге «От двух до пяти» К. Чуковский приводит такие примеры социально обусловленного употребления и осмысления слов детьми: «Дима, сын продавца готового платья, использовал терминологию отцовской профессии для излияния родственных чувств: — *Я всех люблю одинаково, а мамочку на один номер больше.*

А сын одного писателя, глядя на вертящуюся карусель, проговорил с нетерпением: — *Папа, скажи редактору этой карусели — нельзя ли мне наконец покататься!»*

У детей, пришедших в школу из разных в социальном и культурном отношениях семей, часто обнаруживается неодинаковое владение языком, неравная способность к речевому общению. Различия касаются и активного запаса слов, умения связно говорить, и речевого приспособления к условиям общения.

Эти различия сохраняются и в школьные годы. Однако характерно, что совместное обучение детей разного социального происхождения обычно выравнивает их речь, значительно уменьшает разницу во владении языком.

Английский ученый Б. Бернстайн сравнил речь двух групп подростков. В первой группе были дети из низших социальных слоев, не получившие систематического образования и работавшие рассыльными; во второй — учащиеся и выпускники так называемых высших частных школ (high public schools). В обеих группах — равное число подростков одного возраста. Их интеллектуальный уровень тоже примерно одинаковый (это устанавливалось специальными тестами — т. е. упражнениями, с помощью которых можно выяснять сообразительность, быстроту реакций и т. п.).

Каждый из членов этих групп дал короткое интервью на одну и ту же тему (о том, как он относится к возможной отмене пенальти в футболе), которое было записано на магнитофон. Анализ полученного материала подтвердил заранее выдвинутую Б. Бернстайном гипотезу о том, что представители первой группы (низший социальный слой) используют менее богатый и разнообразный словарь, чем представители второй.

Однако значит ли это, что речь выходцев из неимущих слоев буржуазного общества всегда, при любых условиях более бедна и статична, чем речь представителей культурных слоев буржуазного общества? Ясно, что не всегда: многое зависит от условий и характера социализации детей из разных социальных групп.

Как показали дальнейшие исследования, в использовании более и менее богатого словаря решающую роль играет ситуация, те условия, в которых происходит общение. Изучая группы подростков-негров, американский лингвист Уильям Лабов обнаружил, что их речь при рассказывании различных историй приятелям, в словесных шутках и перепалках — словом, в естественных для них условиях — весьма гибка и разнообразна. Если они кажутся необщительными в официальных интервью с незнакомым исследователем, то это должно свидетельствовать скорее о непривычности для них обстановки интервью, чем об их языковой неразвитости.

С другой стороны, подростки из обеспеченных, культурных американских семей не всегда прибегают к разнообразным языковым средствам: в семейных ситуациях, в разговорах с родителями они пользуются небогатым словарем и ограниченным набором синтаксических конструкций.

Между подростками той и другой групп различие заключается в том, что дети из культурных семей более успешно осваивают различные социальные роли, овладевают теми знаниями, которые необходимы для правильного приспособления своей речи к обстановке. При смене ситуации, изменении условий речи они лучше умеют переключаться с одних средств на другие, подгоняя свою речь по стилю, окраске, тональности к условиям общения.

База языковых и ситуативно-ролевых знаний и навыков закладывается в семье — школа лишь укрепляет и «достраивает» эту базу. Совместное обучение в школе ребят из разных по своим культурным традициям семей во многом выравнивает их языковое развитие. Однако это не означает, что школа исправляет все огрехи и недостатки семейного речевого воспитания. Конечно, школа — мощное средство социализации, но начинается-то этот процесс все же в семье.

Здесь возможна такая аналогия. Допустим, ты, читатель, задумал сконструировать радиоприемник. Чтобы осуществить это, тебе необходимо прежде всего овладеть основами радиотехники. Это — фундамент, без которого невозможно научиться правильному и успешному конструированию радиоприборов. Если такого фундамента у тебя нет, то, как ни изощряйся в подборе и соединении деталей, как ни стремись к компактности приемника, к его красоте, у тебя скорее всего ничего не получится.

Воспитание в семье — фундамент социализации ребенка. От того, как будет заложен этот фундамент, зависит последующее общественное развитие человека. И речевое — тоже. Ведь навыки речи, приобретенные в семье, могут способствовать дальнейшей речевой социализации, но могут и приходить с ней в противоречие. Во втором случае неизбежно «переучивание» — с одних речевых навыков на другие.

Если с раннего возраста ребенок погружен в атмосферу культурной речи, если с самого начала он слышит правильное, литературное слово в устах отца, матери, старших братьев и сестер — процесс его речевого воспитания проходит успешно. Конечно, ребенок и не подозревает, что это речь литературная, что есть еще и другие разновидности языка. Для него то, как говорят родители, единственный и несомненный способ выражать свои побуждения и мысли. И когда малыш начинает говорить сам, то пытается стро-

ить свою речь по тем словесным, грамматическим, произносительным и интонационным образцам, к которым уже привыкло его ухо.

В дальнейшем, особенно в школе, ребенку не понадобится переучиваться: ведь та речь, которую он усваивает в семье, и санкционируется обществом как культурная, правильная.

Не то — у детей, растущих в условиях диалектной речи, или же тех, чьи воспитатели «разноязычны»: например, бабушка говорит просторечно, а отец и мать — литературно. От бабушки Коля или Таня слышат: «проздравляю», «цельный день», «каструля», «покаместь» — и некоторые из этих речевых форм усваивают. Но стоит употребить их при родителях, те указывают: — Так не говори, это неправильно.

Если такие указания регулярны, то ребенок постепенно освобождается от просторечных элементов в своей речи. Но иногда происходит другое — он становится как бы двуязычным: в разговоре с родителями он стремится (часто неосознанно, важна лишь установка, сложившаяся в процессе предшествовавших указаний родителей на ошибки) избегать просторечных форм, а в общении с бабушкой может их употреблять, так как в этом случае его не только не поправляют, но и используют в речи те же формы.

Детям, воспитанным в лингвистически неоднородной или же просто нелитературно говорящей среде, с возрастом приходится избавляться от черт диалектного и просторечного произношения. А произносительные и грамматические навыки, приобретенные в детстве, очень устойчивы: при необходимости их трудно переделать, заменить другими. Поэтому если в детстве человек усвоил нелитературное произношение, то процесс переучивания в последующие годы очень длителен, непрост. Бывает, что и у взрослого человека, который родился в деревне, сохраняются элементы диалектного произношения, несмотря на то, что всю сознательную жизнь он провел в городе.

На всех, особенно на ранних этапах овладения речью важно отношение старших к слову ребенка — и отношение не только родителей, но и старших братьев, сестер.

Тебе, читатель, возможно, несерьезными, детскими кажутся вопросы трехлетней сестренки или пятилетнего брата. Воспитанием в семье занимаются твои родители, бабушка, но ведь и ты, может быть помимо своей воли,

участвуешь в воспитательном процессе: твое поведение, твои поступки и слова, даже твой внешний облик служат примером (хорошим или плохим — это зависит от тебя) для младшего в семье. А если ты внимательно присмотришься к маленькому человеку, прислушаешься к его речи, ты можешь увидеть интересный, своеобразный мир, для которого характерны свои законы и обычаи. Каждый из нас живет в этом мире в течение нескольких лет, но, взрослея, мы забываем многое из детства, а уж если говорить об общих закономерностях и тенденциях развития ребенка, то здесь никак не обойтись без наблюдений ученых-психологов и лингвистов. Я думаю, что для тебя, читатель, в особенности если ты старший из детей в семье, будут небезынтересны эти наблюдения; о некоторых из них ты узнаешь на этой и следующих страницах.

Как только в маленьком ребенке проявляется способность к произнесению осмысленных звуков и высказываний, родители обычно всячески поощряют его попытки говорить. Однако некоторым это быстро надоедает, в особенности к тому времени, когда двух-, трехлетний человек начинает без устали работать языком, засыпая взрослых вопросами, делясь с ними своими впечатлениями и т. п. Часто родители пресекают это «словоизвержение» или просто не слушают, что говорит им дочь или сын.

Как показывают наблюдения психологов и лингвистов, в семье, где царит атмосфера внимательного отношения к детскому слову, где ребенок чувствует свободу своей речевой деятельности, где поощряются его речевые перевоплощения (малыш говорит за себя, за лошадку, за куклу),— усвоение языка и развитие речи идет более успешно, чем в семьях, в которых взрослые часто отмахиваются от назойливых расспросов детей, без особых оснований запрещают им «болтать».

С самого начала и вплоть до школьного возраста у ребенка развивается диалогическая форма речи. И это естественно: ведь обучение языку проходит в процессе непрерывного общения с окружающими. Вопросы, ответы, реплики, замечания — вот обычные речевые формы в дошкольном возрасте. И в первых классах школы дети еще не справляются с монологической речью: они плохо пересказывают, стараются буквально повторить прочитанное. Как пишет Николай Иванович Жинкин, в этом возрасте

ребенок «понимает в окружающем больше, чем умеет передать словами».

Чем старше становится вчерашний «детсадовец», с чем более широким кругом людей он вступает в общение, тем очевидней становится (если не для него самого, то, во всяком случае, для наблюдателя), как важно не только владеть языком, но и умело использовать его в разных ситуациях. Мальчик или девочка учатся *приспосабливать* свою речь к целям общения, к социальным и психологическим условиям речи, к тем ролям, которые они играют по отношению к окружающим их людям. По-видимому, можно сказать, что с довольно раннего возраста язык усваивается не в «чистом» виде, а в разнообразных коммуникативных формах, включающих ситуативные и ролевые моменты. Недаром даже маленькие дети могут хорошо понимать, с кем как говорить — ласково, небрежно, капризно, грубо, повелительно и т. д.

Наблюдения показывают, что в возрасте трех-четырех лет ребенок уже овладевает элементами ролевого поведения: он начинает использовать языковые средства дифференцированно — в зависимости от того, с кем он говорит (например, с отцом, бабушкой или сверстниками) и в каких условиях: например, строй речи в разговоре наедине с кем-либо из членов семьи отличается от строя его речи в беседах с тем же лицом, но в присутствии постороннего.

Однако в целом освоение правил ситуативно-ролевого речевого поведения происходит труднее и в более длительные сроки, чем освоение правил собственно языковых.

Первоначально речь ребенка не всегда ориентирована вовне, она может не быть направленной на собеседника. Это как бы речь для себя. Швейцарский психолог Жан Пиаже показал, что многие трудности в общении между детьми младшего возраста возникают как раз по этой причине: говорящий не заботится о том, чтобы сообщить другим нечто, он просто говорит сам с собой (любопытно, что это явление повторяется в глубокой старости). Такую речь Пиаже назвал эгоцентрической, в отличие от социализированной речи, произносимой для других, т. е. ориентированной на собеседника. Под влиянием социального окружения у человека развивается именно этот, второй тип речи, и в дальнейшем он-то и составляет костяк его речевой деятельности. Эгоцентрическая же речь постепенно перестает выражаться вовне, перестает *звучать*; но это не

значит, что она исчезает: она «перерастает»» в речь внутреннюю, непроизносимую.

Толчком и необходимым условием к овладению социализированной речью служит и г р а. Участвуя в игре, дети могут переходить из одной роли в другую, не учитывая каноны и логику взрослых, пишет психолог Т. Сарбин. Однако именно в игре ребенок начинает усваивать элементы тех ролей, которые играют на его глазах взрослые, прежде всего отец и мать. Поэтому с точки зрения социального и психологического развития игра — такой же важный вид деятельности для ребенка, как работа и другие виды общественного поведения — для взрослых.

Взаимодействуя в игре, дети воспринимают и усваивают то, что психологи называют шаблонами поведения, т. е. наиболее типичные и часто встречающиеся формы человеческого общения. «Игры важны в социализации, поскольку роли участников специфичны; ясно установлено, что каждый играющий может или не может делать, определены цели взаимодействия и ограничена область личного выбора. Следует отметить, что многие дети научаются дисциплине и ответственности в группах равных... значительно больше, чем дома»,— это мнение Т. Шибутани [1] разделяют и многие советские психологи.

Огромно значение, которое имеет в детских играх п о д р а ж а н и е.

Подражание, как мы выяснили несколькими страницами раньше, вообще является основным способом, посредством которого ребенок учится звуковому языку: слыша речь окружающих, он пытается воспроизводить те же самые звуки и слова, которые произносят общающиеся с ним и между собой люди.

В игре же особенно ярко проявляется не только собственно лингвистическая сторона подражания (воспроизведение звуков, слов, предложений), но и, так сказать, поведенческая: ребенок подражает тону, манерам, привычкам взрослых. Так, играя в дочки-матери, в войну, в школу, дети воспроизводят не столько конкретные слова и обороты матери, командира, учительницы, сколько общий стиль поведения каждой из этих фигур. Особенно отчетливо наблюдается подражание интонационному рисунку речи.

---

[1] Ш и б у т а н и Т. Социальная психология, с. 421—422

Объектом подражания обычно служит лицо, авторитетное для ребенка в том или ином отношении. В раннем возрасте это отец, мать, старший брат, позже — кто-либо из сверстников, играющий в группе роль лидера, школьный учитель, тренер, любимый киноперсонаж.

Герой повести Валентина Катаева «Сын полка» Ваня Солнцев, скитаясь в прифронтовой полосе, встретился с мальчиком своих лет. Но какой это был мальчик! В военной форме — шинели, кубанке, в погонах и при медали, он держался с Ваней чинно и покровительственно. Из разговора выясняется, что этот мальчик уже второй год — сын казачьего полка. Отвечая на вопросы Вани, он говорит с большим достоинством, и в его речи явно проскальзывает подражание манерам кого-то из взрослых, окружающих его в полку. Он обращается к Ване: *братец мой*, употребляет обороты вроде таких, как *поскольку я являюсь круглый сирота, не положено, сейчас называюсь гвардии ефрейтор Вознесенский* и т. п. А рядом — обычные мальчишеские обороты и выражения: *как выскочат, а они как ворвутся, не* вместо *нет* и др.

Вовка Ряшенцев из рассказа Ильи Зверева «Второе апреля» подражает не взрослым, а своему товарищу Коле́, видя в нем образец поведения. Вот как это выражается: *И тут как раз пришел Ряша, то есть Вовка Ряшенцев.*

— Ну, что там нести? — грубо, как Челкаш из произведения Максима Горького, спросил он.— Это, что ль?

Вовка старался быть таким же грубым соленым парнем, как Коля́. Он тоже говорил «во даеть!» и сплевывал, не разжимая губ. Но все это плохо ему удавалось, потому что он был хилый очкарик, кроме того, сильно испорченный интеллигентным воспитанием...

В заостренной, гиперболической форме эта черта — подражание чужим манерам, мыслям, чужой речи — изображена А. П. Чеховым в его знаменитом рассказе «Душечка». Героиня этого рассказа, Ольга Семеновна, которую за миловидность и доброту все звали Душечка, настолько прониклась интересами и образом мыслей своего первого мужа, антрепренера Кукина, что начинает говорить в точности как он: *И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.*

— Но разве публика понимает это? — говорила она.— Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим «Орфея в аду», приходите.

И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она... Актеры любили ее и называли «мы с Ванечкой» и «душечкой»...

Но вот Кукин заболел и умер. Погоревав некоторое время, Душечка вышла замуж за управляющего лесным складом Пустовалова. Так же искренне и горячо проникается она заботами нового мужа, усваивает обороты его речи: *— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов,— говорила она покупателям и знакомым.— Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васечка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф!— говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками.— Какой тариф!*

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелёвка, решотник, лафет, горбыль...

Конечно, столь слепое, бездумное подражание другому человеку не так уж часто встречается в действительности. Однако в большей или меньшей степени подражание свойственно поведению каждого из нас. «Без подражания,— замечает советский психиатр В. Леви,— не обходится ни одно прямое влияние одного человека на другого». Подражание — это инструмент, с помощью которого человек осваивает социальные роли и диктуемые каждой ролью правила речевого поведения. Это освоение протекает у разных людей неодинаково: ведь мир социальных и межличностных связей у каждого очень своеобразен.

Есть определенные общие психологические закономерности, обусловленные возрастом. Так, например, подросткам 13—15 лет трудно вживаться в общественные роли. Они могут непринужденно и много говорить с ровесниками, но при общении со старшими, особенно в официальной обстановке, обнаруживают скованность или же нарочитую грубость в поведении и речи. Недаром учителя говорят о том, что, мол, Потапов или Сидоров не умеют себя вести: они действительно еще не умеют естественно и

свободно «проигрывать» многие социальные роли, еще только учатся этому.

Навыки речи, усвоенные в общении со сверстниками, подросток нередко переносит и в отношения со взрослыми.

Вот в школьном коридоре учитель встречает восьмиклассника, родителей которого вчера вызывал в школу: плохо стал учиться мальчишка, хулиганит и других с толку сбивает.

— Смирнов, почему родители ко мне не пришли?

Некоторое молчание. Смирнов стоит вполоборота к учителю и смотрит в сторону. Наконец не очень приветливо буркает:

— Откуда я знаю?

— Ты как разговариваешь!? — возмущается учитель.

— Как разговариваю... Нормально!..

Не исключено, что подросток грубит нарочно. Но вполне возможно, что он и впрямь считает, что говорит нормально, не осознает непочтительности своего поведения в разговоре с учителем: он привык так отвечать сверстникам и, кто знает,— может, и родителям... Только постоянная корректировка его речи окружающими научит его дифференцированно использовать словесные и интонационно-синтаксические средства языка, в результате чего подросток поймет: тон и лексика, которые обычны в общении с одноклассниками, не всегда уместны в разговорах со взрослыми, со старшими по возрасту или положению.

Конечно, не с каждым из вас происходят истории, подобные только что описанной,— многие умеют правильно ориентировать тон и лексику своей речи на тип ситуации, на собеседника. И всё же большинство еще не может свободно использовать средства разных функциональных стилей — делового, научного, публицистического. Правда, вы осваиваете их п а с с и в н о: читая учебники, статьи в научно-популярных журналах, газетные фельетоны и очерки, слыша книжно-литературную речь по телевидению и радио. Но переход от пассивного знания языка к активному использованию разнообразных его стилистических средств — дело нелегкое. Учение в школе облегчает этот переход. Сначала вы учитесь монологической речи: ответы на уроках, пересказы, сочинения — ведь это все виды монолога. Но нетрудно заметить, что жанрово такие монологи очень однообразны: сочинение подчас сильно смахивает на вызубренный урок, а устный ответ по литературе или

истории иногда интонационно безжизнен и повторяет синтаксическую структуру и лексику фраз из учебника.

Освоение разных стилей и жанров литературной речи — задача особенно актуальная для старшеклассников, которые стоят на пороге самостоятельной жизни. Учителя осознают важность этой задачи: они развивают речевые навыки в учащихся не только с помощью сочинений по литературе и контроля их речи на уроках, но и такими формами, как литературный диспут (диалог, но требующий умения логически связно излагать мысли, не теряя в то же время нити рассуждений оппонента), самостоятельное описание какого-либо физического процесса или таинственного явления природы, свободное письменное изложение своих впечатлений от прочитанной книги, просмотренного кинофильма, поездки и т. п.

В одной школе, например, на уроке физики в восьмом классе разгорелся спор о природе скорости света: почему это предел мыслимых скоростей? Могут ли частицы вещества или какая-либо энергия двигаться быстрее, чем 300000 км/с? С какой скоростью двигался бы луч света от прожектора, установленного на поезде, который мчится в ту же сторону со световой скоростью?

Учитель предложил каждому, кто захочет, дома подумать и письменно изложить свои соображения обо всех этих вопросах. Но именно свои, ниоткуда не списанные.

Через неделю полкласса сдали «физику» свои первые научные статьи. Читая их, физик и сам увлекся ребячьими рассуждениями, живой фантазией, заменяющей им знание. А преподавательницу литературы, которой он показал некоторые из этих «трактатов», больше всего поразила живость интонации — как раз то, чего она тщетно искала в их же сочинениях по литературе.

Преподавательница литературы и русского языка увидела и другое: что мысль ребят обгоняет слово, что они больше знают, чем могут выразить (тем более — средствами научного описания). Желая по возможности точно изложить свои гипотезы и доказательства, они путаются в придаточных предложениях, причастных оборотах, в их согласовании друг с другом. Но при этом показательно, что ни один из писавших не «сполз» на привычную разговорно-бытовую манеру и не стал рассказывать о скорости света тем же языком, каким он беседует с ребятами на перемене. Значит, п р е д с т а в л е н и е о том, что на-

учная тема требует обсуждения с помощью соответствующих (а не каких попало) средств, у школьников уже было. Беда заключалась лишь в том, что они не владели этими средствами. Рассуждения о скорости света и явились первым шагом к овладению ими.

Могут возразить: а зачем это нужно? Ведь далеко не все из этих ребят станут учеными. А те, кто станет, тогда и научатся...

Нет, важно именно в этом возрасте, когда речь человека еще не сформировалась окончательно, активно прививать ему разнообразные языковые умения. Как показывают наблюдения психологов, в этом случае они более устойчивы, чем навыки, усваиваемые взрослым. Да и, как говорится, лишнее ремесло за плечами не виснет: и простому инженеру иногда приходится писать научные работы. А разве не нужно фрезеровщику грамотно излагать придуманное им усовершенствование обработки металла?

То же и с деловой речью.

В современной школьной программе предусмотрено обучение ребят элементам официально-делового стиля. Только немногие из вас станут дипломатами, референтами, делопроизводителями, секретарями — т. е. людьми тех профессий, исполнение которых немыслимо без владения этим стилем. Остальные будут инженерами, учителями, рабочими, бухгалтерами и т. д. Но ведь грамотно написать заявление или деловое письмо должен уметь каждый. И привить вам этот навык — задача школьного обучения.

К сожалению, в действительности многие из кончающих школу не владеют даже азами делового языка. Приходит шестнадцати-, семнадцатилетний юноша в отдел кадров завода или в приемную комиссию вуза и под диктовку секретаря пишет заявление, не потому, что он не знает, о чем писать, а главным образом потому, что не ведает — как.

Деловая речь, особенно в канцелярском ее варианте, часто подвергается осмеянию: за то, что полна штампов, что безжизненна, суха, худосочна. Но скудость и худосочие канцелярских штампов проявляются в основном тогда, когда они стоят не на своем месте — скажем, в научном сочинении или бытовом разговоре (помните, что писал об этом Г. О. Винокур? См. с. 64).

Есть сферы деятельности, которые требуют использования именно этих канцелярских штампов, готовых фор-

мул. Для дела, деловых отношений лучше, если форма — переписки, соглашения, договора, отчета, заявления — будет устойчивой, всеми принятой. Тогда за почти автоматически воспринимаемой формой легко разглядеть суть. «В деловых письмах,— наставлял своего сына более двухсот лет назад знаменитый английский писатель и философ-моралист Честерфилд,— превыше всего ясность и прозрачность. Каждая фраза в них должна быть настолько четко выражена и недвусмысленна, чтобы самый большой тупица на свете не мог ее неверно истолковать и не должен был перечитывать, чтобы понять ее смысл».

Итак, научиться пользоваться средствами разных функциональных стилей — одна из трудных задач, которую подросток решает при активном содействии школы. По правде говоря, до конца решить эту задачу и невозможно: постижение богатств языка, овладение ими продолжается всю жизнь.

Другая задача — усвоить нормы речевого поведения, принятые в данной социальной среде. А коли основным, как говорят социологи, агентом социализации является первичная группа — семья, класс, бригада на производстве,— то очевидно, что в первую очередь человек усваивает формы поведения, свойственные членам этих групп, и лишь через их посредство воспринимает более общие правила и нормы, характеризующие общество в целом.

Выясним, как взаимодействует индивид с группой, сколь одинаково его речевое поведение в присутствии членов группы и вне группы, в общении с «посторонними». Попытаемся разобраться, в чем сказывается «давление» группы, принятых в ней речевых особенностей на речи каждого из ее членов, ответить на вопрос: не может ли быть конфликта между групповыми речевыми нормами — и нормами, принятыми во всем обществе?

Чтобы разобраться во всех этих проблемах, надо понаблюдать за речевым поведением человека в группе.

ОБЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ

И вновь вокруг товарищи мои.
Их мысли понимаю с полуслова.
Из японской поэзии

В повести «Юность» Л. Н. Толстой так характеризовал понимание, которое существует между членами одного кружка или одной семьи: «Сущность этой способности со-

стоит в условленном чувстве меры и в условленном одностороннем взгляде на предметы. Два человека одного кружка или одного семейства, имеющие эту способность, всегда до одной и той же точки допускают выражение чувства, далее которой они оба вместе уже видят фразу; в одну и ту же минуту они видят, где кончается похвала и начинается ирония, где кончается увлечение и начинается притворство,— что для людей с другим пониманием может казаться совершенно иначе. Для людей с одним пониманием каждый предмет одинаково для обоих бросается в глаза преимущественно своей смешной или красивой, или грязной стороной. Для облегчения этого одинакового понимания между людьми одного кружка или семейства устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже слова, определяющие те оттенки понятий, которые для других не существуют. ... ни с кем, как с Володей, с которым мы развивались в одинаковых условиях, не довели мы эту способность до такой тонкости. Например, у нас с Володей установились, бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: *изюм* означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги, *шишка* (причем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение на оба *ш*) означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское; существительное, употребленное во множественном числе, означало несправедливое пристрастие к этому предмету и т. д., и т. д. Но, впрочем, значение зависело больше от выражения лица, от общего смысла разговора, так что, какое бы новое выражение для нового оттенка ни придумал один из нас, другой по одному намеку уже понимал его точно так же».

Такое тонкое взаимопонимание существует обычно между членами небольшой группы — недаром Толстой приводит как пример семью,— контакты которых друг с другом постоянны и очень тесны.

Не надо обладать особой наблюдательностью, чтобы заметить: на людях человек ведет себя иначе, чем наедине с собой, а среди близких и друзей — не так, как в общении с посторонними, незнакомыми людьми. «Не подлежит никакому сомнению,— писал выдающийся русский психиатр В. М. Бехтерев,— что в проявлениях нервно-психической деятельности социальных или общественных групп имеются известные особенности, проистекающие из того, что эта деятельность проявляется не в индивидах, взятых

отдельно друг от друга, а в группах и собраниях лиц, спаянных определенными интересами и действующих и работающих поэтому сообща, как одно собирательное целое.

Можно определенно сказать, что даже личности, входящие в состав того или другого собрания, нередко обнаруживают такие стороны своей нервно-психической деятельности, которые обычно не проявляются в индивидуальной жизни».

Изучая деятельность человека в разных условиях, психологи пришли к выводу, что особенно заметно различие между формами индивидуального поведения, с одной стороны, и с другой — тем, как ведет себя человек в присутствии других, но не просто других, а значимых для него, с которыми он связан определенными отношениями, например в присутствии отца, сестры, друзей, сослуживцев. Общение со «значимыми другими» происходит в рамках определенных, относительно небольших групп: семьи, дружеской компании, класса, производственного отдела, бригады.

Поведение человека в этих группах интересно и для лингвистики. Теснота и регулярность связей общения может наложить отпечаток на речь человека, производя своего рода эффект группы. Под влиянием группы человек может усваивать несвойственные ему обороты речи. Крайний случай такого «давления» приводит в своем дневнике Л. Н. Толстой: он признается, что, постоянно живя в своем доме среди женщин, общаясь с ними больше, чем с мужчинами, он иногда о себе самом говорит в женском роде: *я пошла...*

Социальная группа может отвергать того, кто резко отличается от ее членов своим поведением, манерами, речью. Так произошло, например, с Онегиным, когда он поселился у себя в деревне: соседи-помещики

...дружбу прекратили с ним:
«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все д а, да н е т; не скажет д а-с
Иль н е т-с». Таков был общий глас.

(А. С. Пушкин. Евгений Онегин, гл. 2, V.)

Каждая небольшая, более или менее сплоченная группа стремится развить такие речевые особенности, которые

выделяли бы эту группу, ее членов из среды всех остальных людей. При этом даже мелкие языковые различия играют роль символов, указывающих на принадлежность человека к такой-то группе.

В современной социологии существует понятие так называемой малой группы. Вот как определяется это понятие в «Философской энциклопедии»: «Под малой группой обычно понимают малочисленную социальную группу, члены которой объединены общей деятельностью и находятся в непосредственном личном контакте, что является основой для возникновения как эмоциональных отношений в группе (симпатии, неприязни и безразличия), так и особых групповых ценностей и норм поведения. К малым группам относят семью, производственный, научный, спортивный, воинский коллективы и нек. др.».

Какова численность малой группы? В разных случаях она, естественно, различна, но все-таки какова, так сказать, оптимальная величина? Нижний предел определить легко: не меньше двух (меньше — это уже не группа, а индивид). А верхний? Социологи не имеют на этот счет единого мнения. Одни называют цифры 7—9, другие считают, что малая группа может состоять из нескольких десятков человек. По-видимому, размер группы — величина относительная. Если интенсивность связей между членами группы высока, то малой может быть признана общность и в 30—40 человек. Однако чаще объектами исследования служат коллективы, более точно соответствующие смыслу прилагательного «малая», т. е. включающие от 2 до 10 человек.

Малая — это главным образом количественная характеристика группы. Но сами такие группы могут быть разными по типу взаимоотношений членов.

Выделяют формальную группу: положение и поведение отдельных членов в ней строго регламентируется официальными правилами — и неформальную, которая возникает в рамках формальной на основе психологических симпатий между людьми. Есть еще понятие первичной группы, о которой мы упоминали в предыдущей главе; она отличается близкими взаимоотношениями ее членов и имеет первостепенное значение в процессе социализации личности.

При дальнейшем изложении мы будем иметь в виду первичные и неформальные группы, так как именно в этих

типах групп взаимное общение людей максимально часто и интенсивно. Частота же и интенсивность связей членов группы очень важны для изучения особенностей их речи.

«За немногими исключениями,— пишет Т. Шибутани,— человек рассматривает мир с точки зрения, которая разделяется людьми, непосредственно его окружающими. Стандарты первичной группы ощущаются сильнее, если благодаря конъюктивным (объединительным) чувствам социальная дистанция между членами группы сокращается... Трудно нарушить ожидание тех, с кем человек себя объединяет, ибо понимание их огорчения вызывает острое чувство вины. Чем привлекательнее группа для ее участников, тем выше давление, обеспечивающее единообразие поступков и мнений».

Типичные малые группы на ранних стадиях социализации — семья и игровые группы.

Ты, читатель, еще не очень далеко ушел из своего детства. Попробуй восстановить в памяти твои отношения с родителями и с товарищами — от самого раннего времени (которое ты в состоянии вспомнить) до теперешних дней. Конечно, не каждый способен к психологическому самоанализу, да еще к анализу своих отношений с другими людьми в прошлом. Но те наблюдения, которые сделали ученые-психологи, вероятно, помогут тебе убедиться в том, что эти отношения **неодинаковы** в зависимости от твоего возраста.

На разных стадиях развития человека различно значение для него таких групп, как семья и компания сверстников. В раннем детстве ребенок в своем поведении целиком руководствуется установками, приобретенными в семье. Затем все более существенными для него оказываются ожидания, исходящие от игровых групп.

При этом могут возникать конфликты: требования родителей часто расходятся с нормами, принятыми в детских группах. Это проявляется и в речи: родители обычно строго осуждают «уличные» слова и обороты, которые ребенок приносит со двора, из детского сада, а в коллективах его сверстников именно эти языковые средства считаются нормальными и даже «престижными».

Кое с кем из вас, возможно, происходили случаи, подобные приведенным ниже:

— *Мама, у нас сегодня п ё ш и не было, а на ф и з р у́*

надо было лыжи принести,— говорит пятиклассница матери.

— Что это за п е ш а и ф и з р а ?!— изумляется мать.

— А! Это у нас так уроки пения и физкультуры называются.

— У кого это у вас?

— Ну, у нас, в школе.

— И учителя так говорят?

— Нет, что ты! Только мы, ученики...

Другой случай.

Подросток приходит из школы и рассказывает отцу:

— Сегодня на труде [т. е. на уроке труда] *ф и р м о́ в у ю деталь выточил.*

— Какую-какую?

— Ф и р м о́ в у ю.

— А что это значит?

— Ну, значит, хорошую, красивую.

— Зачем же ты говоришь ф и р м о́ в у ю? Мусор какой-то, а не слово. И непонятно.

— Тебе непонятно, а у нас ребята только так и говорят: ф и р м о́ в ы й, х и п п о́ в ы й...

— Ну, в разговорах со мной, пожалуйста, оставь этот тарабарский язык,— решительно прекращает спор отец.

Сравните диалог воспитателя и воспитанника детдома из повести советского писателя Виктора Астафьева «Кража»: *— Да мы в нотах этих ни бум-бум! — почесал затылок Толя и тут же обнадежил воспитательницу: — Мы и без нот сыграем — б у д ь с п о к !*

— Что такое?

— Б у д ь с п о к - т о ? Будьте спокойны. Понятно?

— Понятно. Словечки эти ваши сведут меня с ума... Надо говорить нормальным языком, Толя.

— Нормальным неинтересно.

С возрастом число групп, к которым одновременно принадлежит человек, увеличивается. Казалось бы, должно расти и число конфликтных ситуаций, вызванных неодинаковостью групповых требований, предъявляемых к одному и тому же лицу. Однако этого не происходит. Становясь взрослыми, мы постепенно вырабатываем в себе особый механизм с о г л а с о в а н и я своих действий и поступков в зависимости от обстановки, условий общения и т. п., а также от требований групп, членами которых мы одновременно являемся.

Получается как будто, что в одних случаях человек действует, приспосабливаясь к ожиданиям одной группы, а в других — иначе, ориентируясь на вкусы другой группы, в третьих — к третьей и т. д. В известной мере поведение большинства людей отмечено таким «приспособленчеством», часто даже и неосознаваемым. Но действует этот механизм не абсолютно и до определенного предела. У каждого человека есть группа, с которой он чувствует себя связанным наиболее тесно и мнением членов которой он особенно дорожит. В случае конфликтной ситуации он избирает нормы и ценности именно этой (социологи называют ее референтной) группы, тем самым отвергая нормы и ценности групп, членство в которых менее существенно для индивида.

Очень часто референтными у ребят бывают группы сверстников, друзей, одноклассников. «Не только для подростка,— пишет И. С. Кон,— но и для юноши фраза: *Все ребята (девушки) так поступают* — не только оправдывает и обосновывает тот или иной поступок, но и перевешивает любые аргументы морального или логического порядка».

Ярким примером может служить такая сцена из рассказа И. Зверева «Второе апреля»: *Все остальные девочки давно уже остриглись и ходили с мальчишескими колючими затылками. Машка мечтала последовать за ними, но была связана честным словом. Еще когда движение «Долой косы» только овладевало девичьими умами в шестых классах «А», «Б» и «В», мама взяла с нее слово, что она оставит косы. Только вчера она последний раз бунтовала дома, добиваясь отмены клятвы.*

— Но почему ты хочешь остричь косички? — страдальчески спросила мама.— Ну почему?

— У нас все девочки до одной их срезали. Потому что так оригинальнее.

— А что, по-твоему, означает это слово — оригинальнее?

— Как у всех, как модно,— уверенно сказала Машка.

Как видим, неукоснительное следование групповым нормам и требованиям может привести даже к извращению смысла слов (*оригинальнее* = как у всех).

Каждый человек имеет не одну, а несколько референтных групп, но не сразу, а на разных стадиях своего социального развития. В детском и юношеском возрасте систе-

ма нравственных и культурных ценностей только формируется, претерпевая непрерывные изменения. Поэтому естественно, что в этот период происходит частая смена «главных» для человека малых групп. Еще сравнительно недавно группа сверстников во дворе, с которыми ты играл, была чуть ли не единственным авторитетом для тебя во всех областях жизни. Потом тебя увлек выдумками и неудержимым юмором отрядный вожатый: рядом с ним всегда было интереснее, чем где бы то ни было. А в седьмом классе у вас появилось нечто вроде «тайного» общества, конечно, не без влияния ТОТРа — Тайного Общества Троечников из кинофильма «Друг мой, Колька!». Именно эта группа ребят, ее дела и интересы долгое время были для тебя дороже всего остального. В девятом вы организовали оркестр: сами склеили гитары, покрыли их лаком, сами разучивали модные мелодии и песенки, и теперь этот небольшой коллектив оказался для тебя главным...

По мере стабилизации системы основных ценностей растет тенденция к сохранению одного и того же круга людей (семьи, друзей, сослуживцев и т. д.) в качестве группы, мнения и действия членов которой особенно значимы для индивида. Но жизнь меняется, возникают новые обстоятельства, человек входит в новые коллективы. Под влиянием этих внешних изменений может происходить его социальная и психологическая переориентация, и свойства референтной иногда приобретает группа, пребывание в которой раньше оценивалось человеком более низко или вообще не рассматривалось как возможное.

«Когда я пришел в ваш класс,— рассказывал моему знакомому, школьному учителю, один из его воспитанников, переехавший в Москву из другого города,— я и не думал, что смогу подружиться с ребятами. Они смеялись надо мной, над тем, как я говорю (на *о*), и у меня долго не было товарищей. Но вот произошла эта история с Мишей, нашим комсоргом: он провалился на реке под лед, еле выбрался и надолго заболел. Мне он и раньше немного нравился; я решил навещать его и вместе с ним готовить уроки... Миша стал моим первым товарищем в новом классе — да еще каким! А потом и другие ребята изменились ко мне. У нас теперь дружная компания, водой не разольешь. И никто уже не замечает, что я говорю не так, как все...»

Вхождение в новую для человека группу людей, отличающихся специфическим образом жизни, и длительное общение с этой группой меняют взгляды этого человека, его привычки, даже речь.

Один из героев повести Василия Аксенова «Апельсины из Марокко» рассказывает: «С нами тоже плавал месяц один писатель... Он был неплохой парень, и мы все быстро к нему привыкли... Потом даже забыли, что он писатель, потому что он вставал на вахту вместе с нами и вместе ложился... И он, как все, говорил: *Здоров, Гера*; *Талант; Рубай компот* и так далее».

Мы видим, что писатель, по возрасту, видимо, не отличавшийся от матросов, настолько органично вошел в новую для себя социальную группу, что стал и действовать, и говорить как все в этой группе, усвоил групповые нормы поведения и специфические обороты речи.

Между людьми, составляющими малую группу, могут быть разные отношения: симпатии, безразличия и антипатии. Чем больше преобладают отношения симпатии, тем сплоченнее группа. А сплоченность, по данным социальных психологов,— важнейшее условие взаимного влияния членов группы: в привычках, поведении, в речи. В сплоченной группе легко вырабатывается механизм такого поведения, которое продиктовано стремлением приспособиться к требованиям, нормам и ценностям группы, с тем чтобы избежать отрицательного отношения к себе со стороны других членов (психологи называют такое поведение конформным, от английского глагола to conform — 'соответствовать, приспосабливаться'). И чем выше оценивает человек свою принадлежность к данной группе, тем сильнее проявляется в его поведении стремление соответствовать требованиям группы, тем глубже переживает он свои действительные или мнимые конфликты с другими членами группы, отрицательную оценку ими его поступков.

Нередко для того, чтобы сохранить верность групповым интересам, человек изменяет собственное мнение.

Вспомните майского жука из сказки Андерсена «Дюймовочка», того самого жука, который похитил Дюймовочку:

Он уселся с Дюймовочкой на самый большой лист, угостил ее сладким цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хоть и ничуть не похожа на майского жука. Потом к ним прилетели гости — другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали Дюймовоч-

ку с головы до ног, и барышни шевелили усиками и говорили:

— У нее только две ножки! Какое убожество!

— У нее даже нет усиков!

— Какая у нее тонкая талия! Фи, она похожа на человека! Как она некрасива! — твердили в один голос все дамы.

На самом деле Дюймовочка была прелестна. Это находил и майский жук, который принес ее на дерево; но когда все остальные сказали, что она безобразна, он под конец сам поверил этому и не стал держать ее у себя: пусть идет куда знает, решил он.

Под влиянием своей «группы» майский жук поверил, что Дюймовочка безобразна. А в другой сказке Андерсена — «Новое платье короля» — каждый из действующих лиц только делает вид, что соглашается с окружающими в оценке королевского платья (которого в действительности нет), но высказать собственное мнение никто не решается, боясь прослыть глупым и нерадивым: ведь портные-обманщики заявили, что новое платье короля превращается в невидимку для тех, кто не справляется со своими служебными обязанностями или просто глуп.

Конформность поведения в особенности свойственна детям, причем младшим по возрасту больше, чем подросткам. Это проявляется и в речи, и в ее оценках: речевые шаблоны, усвоенные в малой группе, подчас вытесняют (правда, по большей части — на короткое время) языковые привычки, которые привиты ребенку в семье.

Интересен в этом отношении такой случай. В одной семье родители говорят чистым, правильным литературным языком. Этот язык они постарались привить и своему маленькому сыну Коле. До определенного возраста Коля не испытывал никаких психологических затруднений в общении со сверстниками, хотя речь его несколько отличалась от их речевых навыков тщательностью произношения, известной книжностью лексики и т. п. Но вот во дворе появился еще один мальчик того же возраста, захотевший, естественно, влиться в группу сверстников. Ребята встретили его неприязненно. И виной тому была его речь: он говорил книжно, тщательно выговаривая слова, но при этом очень похоже на то, как говорил Коля! Коля первым понял, в чем тут дело. И начал стараться, чтобы его собственная речь ничем не походила на речевую манеру но-

венького: намеренно огрублял произношение, выговор отдельных слов и вместе со всеми смеялся над произношением новичка. Всем своим поведением он показывал (может быть, неосознанно), что верен тем шаблонам речи, которые свойственны его группе.

Можно представить себя на месте новичка в подобной группе. Какова наиболее вероятная реакция его на неприятие, на насмешки? Он может обидеться и не делать попыток к дальнейшему сближению с ребятами. Но вполне возможно, что он постарается каким-либо образом сойтись с одним-двумя из детей, а затем попытаться изменить отношение к себе и остальных. Успех этих попыток зависит в значительной степени от того, сможет ли новичок усвоить, говоря языком психологов, групповые нормы и ценности. Чтобы вполне освоиться среди ребят, надо воспринять манеру группового поведения, в частности и образцы поведения речевого. Пока ты отличаешься в этом отношении от других членов группы, они могут не признавать тебя за своего.

Особого внимания заслуживает вопрос о том, как вырабатываются групповые шаблоны речи и, шире, шаблоны поведения. Главным условием их выработки служит совместная деятельность членов группы — игровая, учебная, производственная, спортивная и т. д. В процессе ее складываются групповые ценности и интересы, формируются образцы нормального для данного коллектива поведения. Это происходит при регулярном общении членов группы друг с другом, а поскольку общаются люди посредством языка, то постепенно вырабатываются и общие для группы (и отличающие ее от других групп) образцы речевого поведения. Принадлежа к определенному «малому коллективу», человек обнаруживает большее сходство в речи с членами этого коллектива, чем с людьми, не состоящими в нем.

Американские социологи провели такое исследование. В течение длительного времени они наблюдали за группой людей — постоянных посетителей пончиковой. Эти люди регулярно, по пути на работу и с работы изо дня в день встречались друг с другом во время завтрака, обеда и вечернего кофе. Двое из исследователей сами ежедневно посещали эту пончиковую в течение двух лет, осуществляя так называемое включенное наблюдение (не извне, а изнутри группы, находясь в ней в качестве членов). Наблю-

дение дополнялось и специальными исследовательскими приемами. Путем перекрестных опросов и сложной системы оценок была выяснена теснота связей между членами этой группы. А материалом для собственно лингвистического анализа послужили магнитофонные записи интервью, в ходе которого каждый из обследуемых в течение десяти минут высказывал свою точку зрения на жизнь в городе.

Перенеся такое интервью на бумагу, исследователи затем показывали текст кому-либо из членов группы, но не весь текст, а только вторую сотню слов, на месте же первой был пробел. Испытуемый, не зная, кто автор этого интервью, должен был восстановить по предъявленному тексту то, что, по его представлению, могло быть в первой части. При этом ученых интересовали ответы на два вопроса: 1) Верно ли, что наиболее предсказуема (т. е. восстанавливаема) речь тех лиц, которые занимают в группе центральное положение по частоте и интенсивности общения с другими членами группы? 2) Верно ли, что люди лучше предсказывают речь тех, кого они лучше знают?

На первый вопрос был получен положительный ответ: да, чем больше человек говорит с группой, чем регулярнее его связи с другими членами группы, с тем большим успехом предсказывают они его речь: слова, синтаксические обороты, отдельные выражения.

С ответом на второй вопрос дело обстояло сложнее: здесь использовались не объективные показатели тесноты знакомства, а субъективные оценки каждым из членов группы того, насколько хорошо знает он других, а другие — его. Поэтому, вопреки ожиданиям, результаты анализа не показали связи между речевой предсказуемостью и степенью близости членов группы друг с другом.

Косвенным подтверждением той гипотезы, которая содержалась во втором вопросе, послужило следующее. Те же самые препарированные тексты — со стертой первой сотней слов — с тем же заданием восстановить опущенное были предъявлены группе студентов, не входивших в число посетителей пончиковой. Как и следовало ожидать, студенты сконструировали тексты, очень далекие от того, что было действительно произнесено испытуемыми. Их ответы сильно отличались от тех, которые были получены от членов изучаемой группы.

Таким образом эксперимент американских ученых подтверждает предположение об органической связи психологических и речевых моментов в социальном поведении человека. Материалы этого эксперимента свидетельствуют о том, что группа людей, хорошо знающих друг друга, более однородна в речевом отношении, чем случайные человеческие совокупности. Теснота индивидуальных контактов в группе является условием для хорошей предсказуемости речи одних членов группы другими, а также для взаимного языкового влияния.

Речевое сходство членов одной группы часто бывает не абсолютным, а относительным: оно обусловлено ролью говорящего и ситуацией. На этом, кстати говоря, построено владение различными групповыми языками — жаргонами. В ситуациях общения с членами группы человек свободно использует принятый в данной группе жаргон, но за пределами группы он прибегает к другим речевым средствам (см. об этом в главе «Как в театре»).

Дорожа мнением группы и своей репутацией в глазах ее членов, человек в присутствии группы строит свою речь с ориентировкой на ожидания группы, на то, как принято говорить в этом узком кругу. Стремление не выделяться, говорить как все в группе, преобладает в речевом поведении человека, когда он выступает в роли члена группы.

В повести «На переломе» А. И. Куприн описывает группу военно-гимназической молодежи — так называемых «солидных». «Принадлежа большей частью к порядочным и зажиточным семействам, солидные были настолько сильны и настолько самоуверенны, что умели ограждать себя от насильственных действий «отчаянных», «форсил» и «забывал» [другие группы гимназистов]. Солидные очень заботились о своей наружности, танцевали на гимназических балах и создавали господствующую в возрасте моду... Даже язык и походку солидные выдумали для себя совсем нечеловеческие. Ходили они на прямых ногах, подрагивая всем телом при каждом шаге, а говорили, картавя и ломаясь и заменяя *а* и *о* оборотным *э*, что придавало их разговору оттенок какой-то карикатурной гвардейской расслабленности: — *Этэ мэльчишество! Я вам, мэлэдой чээк, все ушонки эбэрву!*»

Интересен в речевом отношении процесс вхождения в группу. Если человек рассматривает свое пребывание

в группе как престижное или жизненно важное, первые шаги его на пути сближения с новой социальной средой отличаются бо́льшим или меньшим психологическим напряжением. Он стремится понять групповые ценности, усвоить и максимально ориентировать свои взгляды, манеру поведения, речь на эти ценности. Для того, чтобы *приспособиться* ко вкусам группы, он иногда *сознательно* пытается изменить некоторые свойства своей личности — например, избавиться от таких речевых черт, которые отрицательно оцениваются (в действительности или в его представлении) новой для него группой.

Вхождение в группу может не зависеть от субъективных желаний индивида, а вынуждаться обстоятельствами. Например, попав в больницу, человек принужден более или менее длительный срок общаться с людьми, которые находятся с ним в одной палате. Вступая с ними в контакты, он постепенно адаптируется в этой «группе», приспосабливается к необычным для себя условиям общения. Степень такого приспособления зависит от психологической гибкости новичка, от его культурного и интеллектуального уровня, от того, умеет ли он расположить к себе окружающих.

И в этом случае действует тот же механизм: стремление не выделяться, «вписаться» в общую атмосферу, царящую в группе. Если интеллектуальный и образовательный уровень новичка выше, чем у остальных, то он, часто инстинктивно, стремится не обнаруживать этого: не употребляет слов и конструкций, которые, по его представлениям, чужды большинству или оцениваются ими как слишком «ученые», и т. п. Любопытно, что, уже войдя в группу, человек может позволить себе речевое поведение, не согласующееся с групповыми ожиданиями и нормами. Он как бы возвращается к свойственной ему, органичной манере речи, не опасаясь, что она будет оценена отрицательно: его положение как члена группы уже достаточно прочно, и в этих условиях ему легче проявить свою индивидуальность, чем на стадии вхождения в группу.

При этом, чем ярче индивидуальность, чем более цельны взгляды, система духовных ценностей, манера поведения и речь человека, тем труднее дается ему эта начальная стадия, но зато тем интенсивней обнаруживает он

свое «я» в дальнейшем. Бывший новичок может даже выдвинуться в групповые лидеры, т. е. в некоторых отношениях стать авторитетом для остальных членов.

Понятие лидера широко используется в современной социологии малых групп. Ученые, исследующие структуру взаимодействия людей в таких группах, установили, что взаимные влияния членов группы неравномерны: симпатии и антипатии распределяются неодинаково. Одни или, чаще, один в бóльшей мере, чем другие, служит объектом положительных эмоций остальной группы; он стоит как бы в центре той сети межиндивидуальных связей, которая существует в группе. Таких людей и называют лидерами.

В одной и той же группе могут быть разные лидеры для разных ситуаций, для каждой из сторон деятельности группы. Например, в школьном классе Иванов признается лидером во всем, что касается учебы, Петров — в общественной .работе, а Сидоров высоко ценится всеми как первый спортсмен.

Но есть и так называемые универсальные лидеры: их лидерское положение в группе независимо от ситуации, от аспекта групповой деятельности. Такой лидер обычно обладает свойствами, которые качественно превосходят индивидуальные свойства каждого из остальных членов группы.

Лидер служит объектом подражания для людей, составляющих группу. Они могут перенимать и усваивать его привычки, особенности внешнего вида, поведения и — что для нас особенно интересно — манеру речи.

Типичный лидер мальчишеской группы — Тимур Гараев из повести А. Гайдара «Тимур и его команда». Отношения в его команде по-военному четкие, но ребята подчиняются ему не только потому, что он командир, но и потому, что признали его самым толковым, смелым и справедливым. И Тимур оправдывает это доверие своим поведением. Девочка Женя, новичок в ребячьей «команде», быстро прониклась уважением к Тимуру, даже стала подражать его манерам, его речи. Сравните две сцены из этой повести. В первой ребята видят, как по дороге мчится конно-артиллерийский дивизион:

— Это они на вокзал, на погрузку поехали,— важно объяснил Коля Колокольчиков. — Я по их обмундированию вижу...

— Видишь — и молчи! — остановил его Гейка. — Мы и сами с глазами. Вы знаете, ребята, этот болтун хочет убежать в Красную Армию!

— Нельзя,— вмешался Тимур. — Это затея совсем пустая.

— Как нельзя? — покраснев, спросил Коля.— А почему же раньше мальчишки всегда на фронт бегали?

— То раньше! А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее.

В конце повести, когда ребята идут провожать уходящего в армию Георгия, дядю Тимура, Женя повторяет эти слова, голосом и интонацией подражая Тимуру:

— Эге,— отдергивая занавеску, удивился Георгий.— Да у вас команда большая. Ее можно погрузить в эшелон и отправить на фронт.

— Нельзя!— вздохнула, повторяя слова Тимура, Женя.— Крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее...

В последнее время социологи и лингвисты стали употреблять понятие «речевой лидер». Так называют они члена группы, который служит образцом для речевого подражания. Обычно речевое лидерство бывает связано с лидерством психологическим: речь того, кто не имеет в группе авторитета, кто пользуется симпатиями членов группы меньше, чем кто бы то ни было другой, редко становится моделью для подражания. И напротив: человек, которого большинство группы признает интеллектуальным и психологическим лидером, как правило, оказывает влияние своей манерой говорить на речь других членов.

Важно подчеркнуть, что как чисто психологическое, так и речевое влияние лидера на группу часто не осознается ни той, ни другой стороной. Лишь посторонний наблюдатель (или исследователь, специально «вжившийся» в группу) может заметить черты речевого сходства, обусловленные таким влиянием.

Подражание речевому лидеру отчетливо проявляется, как это было показано в предыдущей главе, у детей и подростков. Но и в группах взрослых, особенно в таких, которые существуют длительное время и имеют постоянного лидера, наблюдается ориентация речи членов группы на речевые особенности, присущие этому человеку. Правда,

у взрослых такая ориентация в большей мере обусловлена индивидуальными свойствами каждого (есть люди «податливые» в речевом отношении, а есть такие, чья речь, напротив, устойчива к внешним влияниям) и ситуацией: сходство в речевой манере членов группы и лидера обнаруживается преимущественно в ситуациях внутригруппового общения. При этом элементы подражания могут появляться как в речи, адресованной лидеру, так и в общении членов группы между собой в присутствии лидера или же в его отсутствие, но в явной или неявной связи с ним.

В одном небольшом научном коллективе, члены которого в течение продолжительного времени связаны общими интересами, с самого начала выдвинулся лидер, который стал и руководителем коллектива (таким образом, неофициальное, одобренное группой лидерство совпало здесь с официальным, а в этом случае сплоченность группы возрастает). Речевой манере лидера свойственны некоторые индивидуальные черты: бóльшая, чем у других, книжность и тщательность речи как в произношении, так и в интонационно-синтаксическом рисунке речи, любимые слова и обороты типа *так сказать,* произносимые в индивидуальной манере, и т. п.

Эти же самые черты появились постепенно и в речи членов группы (у каждого в разной степени), но не в качестве признаков, органично им свойственных, а в виде ситуативно обусловленных особенностей.

Другой пример.

Главный редактор одного из журналов, властная, энергичная женщина, в течение многих лет работает в контакте с сотрудниками редакции. Не все относятся к ней одинаково: одни любят, другие побаиваются, третьи скрывают неприязнь. Но все считаются с ее мнением — ведь она начальствующее лицо, формальный лидер.

В ее речи есть одна очень яркая черта: она окает, т. е. произносит *вода,* а не *вада, воспитание,* а не *въспитание* и отчетливо различает *е* и *и* в первом предударном слоге: говорит *весна, тепло*, а не *виесна, тиепло* (как все носители литературного языка).

Любопытно, что члены редакции — преимущественно те, кто любит главного редактора, и те, кто боится,— в ее присутствии тоже начинают окать и «екать», каждый в разной степени, но все же более или менее заметно.

А у тех, кто недолюбливает главного редактора, случаев такого подражания почти не наблюдается. Это хорошо согласуется с закономерностью, которую вывели психологи: лидер должен быть не навязан извне, а признан самими членами группы; только в этом случае происходит подражание его личностным свойствам.

Итак, в группе люди влияют друг на друга не только психологически, но и лингвистически. Речь лиц, составляющих группу, более однородна, чем речь людей, не образующих группы, взятых случайно. Можно указать несколько факторов, которые способствуют речевой однородности группы:

1) время: чем длительнее контакты членов группы друг с другом, тем вероятнее речевая однородность;

2) регулярность общения: чем чаще общаются между собой члены группы, тем больше следов взаимного влияния можно обнаружить в их речи;

3) сплоченность группы и наличие в ней (неформального) лидера;

4) владение одной общей для всех в группе подсистемой языка, например, литературным языком, или профессиональным жаргоном, или местным диалектом. Если одни члены группы владеют одной разновидностью языка, а остальные другой, то затрудняется не только выработка специфичной для данной группы речевой манеры, но и просто общение. С преодоления контрастных различий в речи людей, образующих группу, собственно, и начинается процесс создания особых, свойственных данной группе шаблонов речевого поведения. Поэтому четвертый, языковой фактор — главный: от него в большей мере, чем от других, зависит речевое своеобразие группы.

Однако взрослый человек является членом не одной, а одновременно нескольких групп, каждая из которых может обладать своей системой норм, в частности норм языкового общения. Отсюда следует вывод о множественности свойственных каждому человеку образцов речевого поведения и об их дифференцированном использовании — в зависимости от тех социально-групповых ролей, которые исполняет индивид в процессе общения.

Влияние групповой манеры речи сказывается наиболее сильно при выполнении человеком ролей, предписываемых ему его местом в структуре данной группы. Одна-

ко, чем дороже ему то, что он является членом данной группы, чем значимее для него групповые взгляды и ценности, тем дальше распространяют свое влияние групповые шаблоны речевого поведения. В таких случаях и вне группы, «играя» другие социальные роли, человек может строить свою речь более или менее сходно с той речевой манерой, которая характерна для него при внутригрупповом общении.

Речевое поведение человека в группе — новая область социально-психологических и лингвистических исследований. Неясного и неизученного здесь куда больше, чем окончательно установленного. Одно несомненно: коль скоро значительная часть социальной деятельности людей протекает в малых группах, то речевая сторона этой деятельности должна обратить — и уже обращает — на себя внимание ученых.

НЕОБХОДИМАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ

Пойми, читатель, силу этикета:
Король и мещанин, мудрец и плут
Его законы знают и блюдут!

Дж. Г. Байрон. Дон Жуан

Вы едете в автобусе. К вам обращается незнакомая женщина:

— Простите, вы не скажете, как доехать до Центрального рынка?

Вы объясняете. И вряд ли при этом задумываетесь над формулировкой вопроса: почему женщина сказала *простите?* За что просила прощения?..

А если бы она начала со слов *будьте добры,* то и в этом случае вам, по-видимому, не пришло бы в голову буквально понимать это обращение: быть добрым именно сейчас, на минутку.

Никто, естественно, не станет рассуждать подобным образом. Дело в том, что перед нами обычные, каждодневные и потому примелькавшиеся «формулы вежливости».

В нашем языке, как и в любом другом, существует определенный набор таких формул. Они являются как бы сопроводительными знаками таких речевых актов, как

просьба, благодарность, предложение, извинение и др. Обращаясь с просьбой — к знакомому, а тем более к незнакомому человеку, мы непременно добавляем какую-либо из формул вежливости (а иногда и несколько сразу): *пожалуйста, будьте добры, не откажите в любезности,* благодаря за оказанную услугу, произносим: *спасибо, я вам очень признателен, благодарю.*

Социальное взаимодействие людей в процессе трудовой деятельности, обмена информацией, при культурном сотрудничестве, просто в быту осуществляется в разнообразных речевых формах. Как мы выяснили в предыдущих главах, значительную долю этих форм составляют так называемые шаблоны речевого поведения, т. е. регулярно повторяющиеся и одобренные обществом (или группой) нормы общения.

Эти нормы различаются по своему характеру, по строгости и обязательности — в зависимости от сферы общения, от ситуации и социальных ролей говорящего.

В одних случаях они задают направление выбора языковых средств: так, при обращении младшего (по возрасту или по положению в семье) к старшему выбор слов и других языковых средств более тщателен, чем при общении равных в указанном отношении. Сравните такой характерный пример из киноповести современного советского писателя Ю. Трифонова «Бесконечные игры»:

— *Мамочка, если хочешь мне помочь — помогай, но, ради бога, не влезай в мои дела!*

— *Не влезай! Очень вежливо. Художник по костюму, культурный человек, отвечает матери!*

В других случаях нормы речевого общения регламентируют уже выбранные средства, указывая, какие из них можно употреблять в данной ситуации, а какие нельзя, и детально разграничивают слова и конструкции в соответствии с условиями общения. Именно такими являются правила языкового этикета.

В каждом обществе вырабатываются особые речевые формы, которые помогают человеку вести себя так, как этого требуют культурные и нравственные традиции данного коллектива. Бесцеремонность, грубость, излишняя фамильярность никогда не считались в цивилизованном обществе признаком хорошего тона. И напротив, предупредительность, вежливость — качества, за которые люди благодарны друг другу.

Поэтому естественно обратиться к человеку с предупредительным *простите:* простите, что беспокою вас своей просьбой, что отрываю от работы, что отнимаю у вас время и т. д. Часто и не раскрывается, за что мы просим простить нас, остается лишь одно слово *простите*, с которого мы начинаем обращение. Такую же апеллятивную (от латинского слова appell — 'обращаюсь') функцию выполняют и другие языковые средства: *будьте добры, пожалуйста* и под.

У всех по-разному

Каждый язык отражает культуру того народа, который на нем говорит.

Л. В. Щерба

Французское слово étiquette означает 'обхождение, учтивость'. Этимология слова показывает, что этикет — это такие правила обхождения, учтивости, которые освящены обычаями, традициями данного общества, специфичны для него. Это соответствует тому, что есть в действительности. Но следует помнить: что нормально в одном обществе, в другом оценивается негативно; одни и те же формы этикета могут иметь разное содержание в разных человеческих коллективах.

На первый взгляд может показаться, что формы обхождения важны лишь в некоторых видах общения, в особо торжественных и официальных случаях: скажем, на дипломатическом приеме, в обстановке переговоров между главами правительств, во всякого рода церемониях — при вручении знамени, поздравлении со вступлением в комсомол и т. п. Действительно, во всех подобных ситуациях участники достаточно строго придерживаются определенных правил этикета как в речи, так и в неречевых формах поведения.

Но и в обычной жизни, общаясь друг с другом, люди используют о б щ е п р и н я т ы е способы приветствий, обращений, прощания, благодарности и т. д.

Русские приветствуют друг друга словами: *здравствуйте, добрый день <вечер, утро>, привет, здорово, салют, как дела*?; французы: *bon jour* (=добрый день), *bon soir* (=добрый вечер), *comment ça va*? (=как дела?); американцы: *good day <morning, evening>, How do you do?*

Hallo! (что в переводе, видимо, не нуждается: так прочно слиты эти приветствия со стереотипным представлением об американцах); сомалийцы: — *Ma nabad baa?* — *Waa nabad* (буквально: — Мир ли? — Да, мир), *Is ka warran* (буквально: расскажи о себе) и т. п.

Столь же регулярны и устойчивы способы прощания, извинения, приглашения, просьбы и некоторых других часто повторяющихся актов человеческого общения. Сравните обороты, принятые при прощании. У русских: *до свидания, всего доброго, до завтра, прощай(те), пока;* у французов: *au revoir* (=до свидания), *à ce soir* (=до вечера), *à demain* (=до завтра); у англичан и американцев: *good-bye* (=до свидания), *so long* (=пока); у сомалийцев: *Nabad gelyo, nabad* (буквально: Да будет тебе мир, покой), *Haa is arkeyno* (=до свидания) и т. д.

Эти способы привычны, не осознаваемы членами каждого общества как условные, но они являются как раз таковыми — у с л о в н ы м и, принятыми в данном коллективе приемами установления или прекращения коммуникативного контакта. Если вы начинаете общение с вашим знакомым без обычного *здравствуй(те)* или *добрый день*, то он может либо оскорбиться, либо предположить, что у вас случилось нечто, выбившее вас из обычной колеи и заставившее пренебречь нормами этикета.

Уход из гостей без прощания оценивается в русском обществе как невежливое поведение; англичане же относятся к этому иначе, и даже существует оборот «уйти по-английски», т. е. незаметно и потому не прощаясь.

Обращение по имени в соответствии с русскими обычаями возможно лишь к близкому или хорошо знакомому человеку (при этом обычно используется не полное, паспортное имя, а уменьшительное: не *Вячеслав*, а *Слава*, не *Екатерина*, а *Катя*). У американцев принято более свободное употребление личного (и часто тоже уменьшительного) имени: скажем, коллеги по научной работе — не обязательно друзья или близкие знакомые! — могут называть друг друга *Билл, Джон, Боб.* При подобных отношениях русские используют имя и отчество.

На Юге США в прошлом существовали очень строгие различия между обращениями белых к черным, с одной стороны, и черных к белым, с другой. От рабов всегда требовалось обращаться к каждому из правящей группы, добавляя вежливое *мистер, сэр, мадам.* К ним же обраща-

лись: *бой* или только по имени; старые рабы назывались *мэмми* (обращение к женщине) или *дядя*.

Среди некоторых национальностей современной Индии о лице, занимающем высокое социальное положение, принято говорить, употребляя местоимение и глагольные формы множественного числа. В буквальном переводе это звучит так: *Учительница начали рассказывать; Доктор заняли место председателя;* такое лицо и о себе говорит в столь же почтительной форме: *мы пошли*, а не *я пошел*. (Сравните обороты, существовавшие в старом русском просторечии, типа *барин кушают* [1], а также клише, начинавшее царские постановления: «Мы, милостию божьей государь и император всея Руси Николай Второй...»). Местоимение 2-го лица единственного числа, соответствующее нашему *ты*, используется в языке раджастхани (Индия) при интимном общении и при обращении вышестоящего к нижестоящему или старшего по возрасту к младшему. Такое обращение возможно также в случае большого интеллектуального или морального превосходства говорящего над слушающим: например, деревенский мудрец, к которому односельчане обращаются за советом и помощью, всем без исключения говорит *ты*, в том числе и сильным мира — богатому торговцу, землевладельцу.

В Венгрии, по наблюдению современного венгерского лингвиста Ф. Паппа, обращение на *ты (te)* широко распространено в среде интеллигенции и мало встречается у крестьян: крестьяне обращаются друг к другу на *вы*, даже жена мужа называет на *вы* (а он ее — на *ты*). Среди интеллигентных людей одной профессии принято обращение на *ты*, даже если между собеседниками значительная разница в возрасте и они мало знакомы друг с другом (на *ты*, например, может происходить общение людей, впервые встретившихся на профессиональной конференции). Если жены на *ты*, то и их мужья, несмотря на возможную разницу в возрасте, тоже должны обращаться друг к другу на *ты*.

У некоторых народов речевой этикет очень своеобразен и сложен. Например, в сельских районах Мексики в обращениях к другим лицам используется два местоимения

[1] «Его разбудил лакей во фраке, со значком и салфеткой.— Господин, господин, не вы ли будете Нехлюдов, князь? *Барыня ищут вас*» (Л. Толстой. Воскресение).

2-го лица: литературное испанское *usted* и разговорное (менее вежливое) *tú* (сравните наши *вы* и *ты*). Но любопытно, что *usted* используется не только в официальных ситуациях и при обращении к старшим по возрасту, но и к... собакам и кошкам — ко всем остальным животным обращаются на *tú*. Это связано со спецификой культурно-бытовых традиций, в которых собакам и кошкам отводится особое место: в отличие от других животных собака и кошка постоянно находятся в доме (или при доме), они как бы члены семьи; но в отличие от подлинных членов семьи это не люди, а животные. Местоимение-обращение *usted* и служит своеобразным отличительным признаком такого особого положения этих животных.

Чрезвычайно разработанная система этикета сохраняется по традиции в Японии и других странах Востока. У японцев существуют целые системы приветствий, рекомендаций, просьб, форм благодарности и т. п. При расставании на длительное время употребляются одни обороты, при обычном прощании — другие. Диалоги с приветствиями различаются в зависимости не только от времени суток, но и от времени года и места (в русском речевом этикете ничего подобного нет).

Такая детализированная система речевого этикета соответствует своеобразным, идущим из глубокой древности этическим традициям, которые и до сих пор сохраняют незыблемыми многие условности обращения людей (в особенности — старшего поколения) друг к другу.

В книге «Японские записи» известный советский ученый и дипломат Н. Т. Федоренко так описывает, например, разные виды поклонов, которые приняты в Японии: «Кланяются японцы особенно, весьма чинно, с тактом и достоинством. Встречаясь, они останавливаются на довольно значительном расстоянии, сгибаются в поясе и некоторое время остаются в такой позе. Головные уборы при этом снимаются... Существует три разновидности поклона. Самый почтительный поклон — «сайкэйрэй» — делается в знак глубокого уважения и признательности. Такой поклон совершается обычно перед алтарем в синтоистском храме, буддийском монастыре, перед национальным флагом или весьма высокой персоной. Второй вид приветствия — ординарный поклон, при котором корпус наклоняется на двадцать — тридцать градусов и сохраняется в таком положении около двух-трех секунд. Наконец, простой

поклон, который совершается каждодневно. В этом случае делается легкий наклон корпуса и головы, продолжающийся лишь одну секунду. Кланяются японцы стоя, если встречаются на улице, в общественных зданиях, в европейском помещении или в любом помещении с деревянным полом. Поклоны сидя делаются обычно в национальном японском доме, в комнате с циновочным настилом, где, как правило, все сидят на циновке... Поклоны часто делаются для выражения благодарности, приглашения и извинения. Некоторые японцы и японки, особенно старшего поколения, делают многократные поклоны при встрече друзей и гостей. Это рассматривается как проявление вежливости и такта» (Н. Т. Федоренко. Японские записи. М., 1966, с. 42—44).

Европейцу подобные церемонии нередко кажутся странными. Современный французский писатель Ж.-П. Шаброль рассказывает о поклонах японцев с большим юмором: «Единственное поучительное в вестибюлях токийской гостиницы — это поведение японцев, которые назначили там свидание. Оба сгибаются пополам, застывают на месте и опускают головы настолько синхронно, что похоже, будто один человек репетирует поклоны перед зеркалом. Они выдерживают паузу, стоя под прямым углом,— хоть проверяй с угольником в руке! — и не шелохнутся... Потом, как бы невзначай приподняв веко, украдкой бросают взгляд, чтобы обоим выпрямиться одновременно. При малейшем несовпадении они снова сгибаются пополам. Выдох! Вдох! — ничего себе работенка для брюшного пресса!..» (Ж.-П. Шаброль. Миллионы, миллионы японцев. М., 1971, с. 73).

Многообразные языковые средства используют японцы в различного рода рекомендациях и просьбах: одни в случаях, когда некто представляет кому-либо лицо вышестоящее, другие — когда рекомендуется лицо нижестоящее, третьи — при рекомендации знакомого знакомому; имеет значение также и то, где происходит знакомство или представление — в официальных условиях или в частном доме.

Просьба выражается по-разному в зависимости от того, к кому обращаются с ней: к вышестоящему или к нижестоящему, к знакомому или незнакомому, в учреждении или в дружеской компании и т. д.

Для японца имеет большое значение, извиняется ли он за расспросы, или за то, что обременяет кого-то своей

просьбой, или же за беспокойство, вызванное его посещением, или за опоздание, или за невольную бестактность. Столь же тонко различаются виды приказаний, приглашений, поздравлений, соболезнований и т. п.

«Несмотря на свою модернизацию,— пишет в увлекательной книге очерков «Ветка сакуры» журналист Всеволод Овчинников,— Япония до сих пор в немалой степени остается иерархическим обществом. Каждый контакт, в который вступают между собой люди, тут же указывает на род и степень социальной дистанции между ними. Не только обращения, но и местоимения *я*, *ты*, *он*, и даже глаголы, обозначающие простейшие житейские действия, в разных случаях звучат по-разному». Тонкие различия в речевом этикете характеризуют взаимоотношения даже членов одной семьи: «Каждый человек имеет в домашней иерархии четко определенное место и даже звание — как бы свой титул. Почести воздаются не только главе семьи, но и всякому, кто стоит хоть ступенькой выше. Когда сестры обращаются к братьям, они обязаны употреблять иные, более учтивые выражения, чем те, с которыми братья обращаются к сестрам» (В. Овчинников. Ветка сакуры. М., 1971, с. 60, 61).

Как сообщает советский исследователь японского языка В. М. Алпатов, традиции японского общества таковы, что они диктуют женщине разговаривать подчеркнуто вежливо (это считается атрибутом женственности). Опрос информантов, проведенный в 1964 г., показал стойкость этой традиции: свыше 60% высказались за то, что женщины должны говорить более вежливо, чем мужчины.

Еще сложнее и дифференцированнее формы вежливости в таких языках, как корейский, тибетский, яванский. Корейцы, например, различают шесть рядов морфологических форм, каждая из которых связана с определенными отношениями между собеседниками: если социальное положение говорящего ниже, чем социальное положение слушателя, употребляются одни формы, если выше — другие, при равенстве — третьи; различаются по использованию этих форм виды речевого общения младшего по возрасту со старшим, женщины с мужчиной, мужчины с мужчиной и т. д. Кроме того, еще два ряда форм служат для обозначения разных отношений между говорящим и тем, о ком (или о чем) идет речь.

В тибетском языке одно и то же значение выражается по-разному в том случае, если говорящий имеет в виду себя или кого-то, к кому он относится с почтением. Например, слова *u* и *go* значит 'голова', но *u* — почтительная форма, а *go* — обыкновенная (о своей голове говорящий не скажет *u*, а только *go*). Так же различаются слова *gongpa* и *sampa* — 'мысль', *chhab* и *chhu* — 'вода' и др.

«В яванском языке,— пишет исследователь этого языка К. Гирц,— почти невозможно что-либо сказать без указания на различия в социальном положении говорящего и слушателя. Эти различия сильнее, чем те, которые символизируются местоимениями *du* и *Sie* в немецком языке (или *ты* и *вы* в русском). Приветствуя человека, занимающего более низкое социальное положение, чем говорящий, последний использует выражение *Apa pada slamet* (=Как дела?); встречаясь же с лицом, которое выше его на социальной лестнице, он говорит нечто совсем иное, более вежливое, но имеющее тот же самый смысл: *Menapa sami sugeng*. Точно так же различаются и другие формы обращений и приветствий.

Более того, многие слова и аффиксы, помимо их собственных значений, несут еще дополнительную нагрузку в условиях живой речи: они указывают на социальный статус собеседников и на степень близости их отношений. Так, слова *omah*, *qrija*, *dalem* обозначают 'дом', но употребляются различно: *omah* можно сказать при разговоре с человеком более низкого социального статуса, *qrija* — при разговоре с равным, третье же слово, *dalem*,— самое «уважительное», оно используется в общении с лицом более высокого социального положения».

Большинству европейских языков столь глубокие различия «вежливых» и «обыкновенных» форм неизвестны[1]. Основные различия этикетного характера группируются в них вокруг местоимений единственного и множественного числа (см. следующий раздел), а в некоторых языках, как например в английском, не выражается даже и это

---

[1] Слабой аналогией такого рода различий в русском может служить противопоставление стилистически сниженных и нейтральных (реже — высоких) слов: о себе в непринужденной обстановке можно сказать: — *Я так здóрово башкой трахнулся!*, но по отношению к лицу, занимающему более высокое социальное положение, или старшему по возрасту слово *башка* не может быть употреблено.

противопоставление: английское *you* по-русски может быть переведено как *ты* и как *вы*.

Мы видим, что формы речевого этикета отличаются не только национальным, но и социальным своеобразием. Способ обращения, приветствия, благодарности зависит от социального положения, возраста и пола собеседников, от их взаимоотношений.

Русский речевой этикет

От учтивых слов язык не отсохнет.

Русская пословица

Рассмотрим характерные особенности русского речевого этикета. Попытаемся определить различия в этикетных формах и объяснить, чем они обусловлены.

О с н о в у системы речевого этикета в русском обществе (да и в других, как мы видели это по приведенным выше примерам) составляют с п о с о б ы о б р а щ е н и я людей друг к другу. В русском языке таких способов два: «на *ты*», с использованием глаголов в единственном числе, и «на *вы*» (к одному лицу), с использованием глагольных форм множественного числа.

Могущество местоимений

Каждое из двух местоимений — *вы* и *ты* — является сигналом т и п а отношений между людьми.

На *вы* обращаются друг к другу незнакомые или малознакомые взрослые люди. Этот способ принят и при общении в условиях службы, производства, в официальной обстановке. *Вы* говорит младший по возрасту старшему.

На письме при почтительном обращении к человеку местоимение 2-го лица множественного числа пишется с большой буквы: *Вы, Вам, Вас.* Например: *Дорогой Иван Петрович! Поздравляю В а с с праздником. Желаю В а м здоровья и долгих лет жизни.*

Если же поздравление адресовано не только Ивану Петровичу, но и его жене, то местоимение пишется со строчной, маленькой буквы: *Дорогие Иван Петрович и Мария Васильевна! Поздравляю в а с с праздником. Желаю в а м здоровья и долгих лет жизни.*

Иными словами, *Вы* пишется при почтительном обращении к одному человеку, *вы* — при обращении к более чем одному (двоим, троим и т. д.).

Прописная, заглавная буква в местоимении *Вы* употребляется обычно только в письмах (деловых и личных), т. е. при непосредственном обращении к человеку, а в других жанрах письменной речи принято писать *вы*.

Ты — символ более близких, сердечных отношений. Это дало основание одному из лингвистов высказать мысль, что обращение друг к другу на *ты* связано с использованием терминов родства: т. е. отец — *ты*, мама — *ты*, сестра, брат, дедушка и т. д. — *ты*. Однако в действительности это совсем не так: на *ты* обращаются друг к другу не только члены одной семьи или родственники, но и друзья, влюбленные. В одном из рассказов популярного в конце XIX — начале XX в. писателя П. Д. Боборыкина читаем: «В дверь постучали.— Войдите,— откликнулась она, точно постороннему, на *вы*. Они были на *ты* только с глазу на глаз: даже при горничной или хозяйке воздерживались они от *ты*» (П. Д. Боборыкин. Труп).

Ты может использоваться и как особая, «демократическая» манера обращения. Вспомните разговор Базарова с Ситниковым в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»: «А это заведение *твоего* отца тоже нравственное заведение?— промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили. Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова».

С другой стороны, люди, находящиеся в родстве, но сильно различающиеся по возрасту или редко общающиеся, могут говорить друг другу *вы*.

Обращение на *ты* к незнакомому взрослому человеку расценивается как отклонение от этических норм, как грубость или отсутствие элементарной культуры. Оно может свидетельствовать также о незнании говорящим норм этикета, принятых в данном обществе.

Старик Хоттабыч, герой всем известной повести Л. Лагина, чудесным образом переместившийся из древности в современное русское общество, на каждом шагу попадает впросак именно в связи с тем, что не знаком с современными нормами этикета. По праву старшего он считает возможным ко всем обращаться на *ты*, а это вызывает протест

окружающих: «Как *ты* ответила на приказание моего юного друга?— повторил Хоттабыч, снова обращаясь к официантке.

— Я *вас* не понимаю, гражданин,— вежливо ответила ему девушка.— Приказания никакого не было. Была просьба, и я пошла ее выполнять. Это во-первых. А во-вторых, у нас не принято «тыкать». У нас принято обращаться к незнакомым людям на *вы*. И меня удивляет, что *вам* это неизвестно, хотя это известно любому культурному советскому человеку».

Как знак неуважения к личности воспринимается и «тыканье» руководителя лицу подчиненному. Писатель В. Канторович назвал такое *ты* неравноправным и рассказал о нем в очерке «Ты и вы».

Иногда в группе или в более широкой общности людей существует подчеркнуто почтительное отношение к человеку, который по возрасту, знаниям, социальному опыту и особой житейской мудрости как бы возвышается над другими. Такой человек приобретает право всем, даже начальству, говорить *ты*. Но даже и в этом случае «тыканье» ощущается другими не как норма, а как особая п р и в и л е г и я данного лица. Так, например, в повести современного советского писателя Ф. Абрамова «Вокруг да около» пожилой колхозник обращается на *ты* к председателю колхоза, и автор считает необходимым специально прокомментировать такое обращение: *Далеко правишь? — осведомился он* [Петр Гаврилович] *и подал руку. Петр Гаврилович с начальством разговаривал свободно, на т ы, хотя и без оскорбительной фамильярности.*

Обращение на *ты* и на *вы* изменчиво исторически и социально. *Ты* — более древняя форма. В старину она использовалась «в обе стороны» даже при явной асимметрии ролей: так обращался царь или боярин к своему холопу, но так и подвластные называли царя или боярина.

Вот как обращается к царю купец Калашников, герой поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»:

Я скажу т е б е, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что про что — не скажу т е б е,
Скажу только богу единому...

Так же — на *ты* — называют царя и опричник Кирибеевич, и гусляры, поющие песню Ивану Грозному:

Ох т ы гой еси, царь Иван Васильевич!
Про т е б я нашу песню сложили мы,
Про т в о в о любимого опричника,
Да про смелого купца, про Калашникова.

Только на *ты* обращаются друг к другу и персонажи русских былин. Илья Муромец говорит всемогущему князю Владимиру Красное Солнышко:

Т ы, Владимир-князь да стольно-киевский!
Соловей-разбойник на т в о е м дворе...

В том, что это не стилистический прием, а отражение языковой реальности того времени, убеждают нас и примеры из древнерусских текстов и произведений более позднего времени — XVI—XVII вв. Вот, например, обращение к князю в «Псковской летописи»: *Т е б е, княже, кланяемся, н е х о д и к нам* — и в знаменитой повести XVII в. «Слово Даниила Заточника»: *Тако и т ы, княже господине, н е в о з д е р ж и злата и сребра.*

Вежливое *вы* появилось на Руси позднее и связано с просвещением, с внедрением сначала в высших, а затем и в средних социальных слоях форм этикета. В начале XIX в. даже в семейных отношениях — младших со старшими — было принято обращение на *вы*, правда, довольно быстро эта манера сменилась другою, более демократической — на *ты*. Вот что писал об этом выдающийся русский философ и публицист середины XIX в. Н. В. Шелгунов: «Вообще недоразумения между отцами и детьми разрешались в шестидесятых годах легко, и прежняя форма семейного управления уступила сама собой свое место новой форме, основанной на большем равенстве и свободе. Когда я был маленьким, нас учили говорить: *папенька*, *маменька* и *вы*, потом стали говорить: *папа, мама* и тоже *вы;* в шестидесятых годах резкая реакция ниспровергла эти мягкие формы и сами отцы учили детей говорить: *отец, мать* и *ты*. Теперь говорят: *папа, мама* и тоже *ты*. Вот простая и наглядная история вопроса об отцах и детях за шестьдесят лет».

Социально *ты* и *вы* в XIX в. были распределены следующим образом: крестьяне, «простой народ» в своей среде употребляли только *ты* (в том числе и при обращении к

старшим по возрасту и к незнакомым). А к человеку городскому, «из господ» обращались на *вы*. Господа же отвечали им «тыканьем». «Самый мелкий чиновник или приказчик,— с негодованием и горечью писал А. П. Чехов,— обходится с мужиками, как с бродягами, и даже старикам и церковным старостам говорит *ты* и думает, что имеет на это право».

В современном обществе назвать незнакомого взрослого человека на *ты* или «тыкать» старшему может лишь человек малокультурный, не владеющий нормами литературного языка. Иногда такой человек обнаруживает в своей речи лишь стремление следовать общепринятому этикету, но осуществляется это стремление непоследовательно, отчего в речи рядом с *вы* может быть *ты* или же глаголы во множественном числе сочетаются с местоимением единственного числа, и наоборот. Эта черта иногда используется в художественной литературе как средство, характеризующее речевую манеру малокультурного персонажа. Например, персонаж рассказа М. Зощенко «Гиблое место» выражается так:—*Нет, говорю, милый ты мой приятель. Мне с тобой не по пути. Курс у нас с тобой разный. Я, говорю, не согласен идти на уголовно-политическое дело, имейте это в виду. И прошу — оставьте меня в покое продолжать мой путь.*

Вообще же виды употребления местоимения *ты* в художественной литературе более многообразны, чем в бытовой речи. Автор произведения может, например (отвлекаясь от повествования), обратиться к читателю и назвать его при этом на *ты* — это не считается нарушением этикета, грубостью.

В поэтической речи на *ты* принято обращаться к неодушевленным предметам — разумеется, неодушевленным с точки зрения здравого смысла, но не с точки зрения поэта, который обнаруживает несомненные черты живого в море, в родине, в летней грозе... Вспомните, например, замечательное стихотворение А. С. Пушкина «К морю»:

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой,—

или слова Н. В. Гоголя, который в поэме «Мертвые души» сравнивал Русь с птицей-тройкой: *Не так ли и ты, Русь,*

что бойкая необгонимая тройка, н е с е ш ь с я?, или, наконец, строки современного советского поэта Б. Пастернака о приближении грозы:

Ты близко. Ты и д е ш ь пешком
Из города, и тем же шагом
З а й м е ш ь обрыв, в з м а х н е ш ь мешком
И гром п р о к а т и ш ь по оврагам.

В обиходной речи, в повседневном общении людей местоимение *ты* и соответствующие ему глагольные формы единственного числа находятся в определенных (и иногда достаточно сложных) отношениях с *вы* и формами глагола во множественном числе.

В некоторых случаях выбор глагольной формы сопровождается тонкими различиями. Например, пригласительная форма множественного числа *пойдем* грубовата, даже если при этом обратиться к собеседнику на *вы*. Сравните: (1) *Пойдем поговорим* и (2) *Пойдемте поговорим*. Очевидно, что второй вариант предпочтителен; первый обычен при близких, приятельских отношениях между говорящими.

Два способа обращения — на *ты* и на *вы* — не разделены непереходимой гранью, а подвижны, так же как подвижны взаимоотношения людей. Недавно познакомившиеся люди могут сблизиться и перейти на *ты*. Этот переход может сопровождаться сложным комплексом сомнений, переживаний, глубоких чувств. Прекрасно выразил это Пушкин:

Пустое в ы сердечным т ы
Она, обмолвясь, заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою;
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: „как в ы милы!"
И мыслю: „как т е б я люблю!"

Татьяна, признаваясь Онегину в любви, естественно, незаметно для себя переходит с *вы* на *ты*:

То воля неба: я т в о я...

Но часто от *вы* к *ты* люди переходят по обоюдному согласию, по более или менее явному договору. Происходит это обычно в условиях, когда один из общающихся или оба

чувствуют потребность в более интимном обращении, их сковывает официальность «выканья». Вспомните такую сцену из произведения Л. Н. Толстого «Детство, отрочество, юность»: — *Знаете что?— сказала вдруг Сонечка.— Я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю ты; давайте и с вами говорить ты. Хочешь? — прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза.*

— *Давай... те,— сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мои слова.*

— *Давай ты, а не давайте,— поправила Сонечка и засмеялась.*

Но и перейдя на *ты*, люди могут сбиваться на прежнее *вы*. Это целиком обусловлено особенностями их взаимного общения.

В романе «Воскресение» Л. Н. Толстой с помощью этих двух словечек и соответствующих им глагольных форм передает сложность отношений между Нехлюдовым и Катюшей Масловой в тот момент, когда испытывающий глубокое чувство вины князь приходит в тюрьму, чтобы увидеться с осужденной на каторжные работы Масловой.

Маслова... удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его.

— *Вы ко мне?— сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, с косящими глазами лицо.*

— *Я хотел видеть...— Нехлюдов не знал, как сказать: «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного.— Я хотел видеть вас ... я...*

...Он решил сейчас сказать ей все.

— *Катюша! Я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне, простила ли ты меня, простишь ли ты меня когда-нибудь,— сказал он, вдруг переходя на ты.*

А в конце этого трудного свидания — снова переход на *вы:*

— *Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя,— сказал Нехлюдов и протянул руку.— Я приду еще.*

Обращение на *вы* и на *ты* нередко бывает обусловлено психическим состоянием человека: в злобе, гневе, отчаянии, когда теряется контроль над чувствами и речью, вместо вежливого *вы* может вдруг зазвучать грубое *ты*. В такие минуты человек нередко мало заботится о выборе

лексики, прибегая к бранным словам, обидным прозвищам и т. п. *Ты* вполне согласуется с таким словоупотреблением: ведь и в самом деле нелепо, называя кого-либо ослом или идиотом, продолжать обращаться к нему почтительно, т. е. на *вы:* ведь осел или идиот гораздо большее оскорбление, чем *ты.*

Переход на *ты* возможен и без употребления подобной лексики, а просто при сильном возбуждении.

В рассказе известного советского писателя М. Булгакова «Тьма египетская» на прием к врачу приходит вежливый и толковый мельник, у которого оказывается лихорадка. Больной понравился врачу своей интеллигентностью. Разговор на «вы» с обеих сторон. Врач кладет больного в палату, делает указание, чтобы ему давали хинин по одному порошку. Мельник принял сразу десять порошков. После того как его «откачали», доктор, раздосадованный и раздраженный этим нелепым поступком, обращается к мельнику:

— *О б ъ я с н и мне только одно, дядя: зачем т ы это сделал?!*

У других людей наблюдается обратное: в состоянии раздражительности они переходят от *ты* к *вы.* Так, например, Дм. Фурманов рассказывает о том, как Василий Иванович Чапаев через две недели знакомства с комиссаром Клычковым был с ним на *ты*, а в минуту обиды говорит: *Вот п о ч и т а й т е, — передал он Федору отпечатанную на машинке крошечную писульку. Когда Чапаев был взволнован, обижен или ожидал обиды, он часто переходил на в ы* (Д м. Ф у р м а н о в. Чапаев).

В качестве форм языкового этикета выступают не только местоимения 2-го лица *ты* и *вы*, но и местоимение *он* (*она, они*). На первый взгляд кажется, что раз это местоимение не употребляется в функции обращения, то оно как будто и не задевает человеческих отношений. Однако в использовании и этого короткого слова есть одна особенность этикетного характера: не принято говорить *он*, *она* о присутствующем человеке — надо называть его по имени, или по имени-отчеству, или «товарищ такой-то». Только в некоторых официальных ситуациях о присутствующем человеке принято говорить *он:* например, при слушании дела в суде обвинитель и защитник употребляют это местоимение по отношению к подсудимому.

С другой стороны, и в житейских ситуациях могут возникать моменты, когда человек намеренно говорит о присутствующем *он, его* и т. д., вкладывая в это слово то или иное индивидуальное отношение. Однако тот, кого именуют *он*, может отрицательно оценивать такое с ним обращение. Л. Н. Толстой ярко подчеркнул это в романе «Воскресение»:

Нехлюдов, рискуя быть неучтивым, ничего не ответил Колосову и, сев за поданный дымящийся суп, продолжал жевать.

— Дайте же е м у поесть,— улыбаясь сказала Мисси, этим местоимением е м у напоминая свою с ним близость... Нехлюдову особенно неприятно было местоимение е м у, сказанное о нем... Нехлюдов всегда колебался между двумя отношениями к Мисси: то он, как бы прищуриваясь или как бы при лунном свете, видел в ней все прекрасное: она казалась ему и свежа, и красива, и умна, и естественна... А то вдруг он, как бы при ярком солнечном свете, видел, не мог не видеть всего того, чего недоставало ей. Нынче был для него именно такой день.

На этих примерах мы убеждаемся в могущественной силе коротких слов *ты* и *вы*: они могут сблизить людей, но могут и отдалить, могут свидетельствовать о дружеских, добросердечных отношениях, но они же способны передавать и «отрицательные» эмоции — отчуждение, обиду или грубость. При употреблении этих местоимений надо быть особенно внимательным: точное, уместное их использование помогает взаимоотношениям людей, делает их н о р м а л ь н ы м и с точки зрения принятых в нашем обществе форм этикета.

Г р а ж д а н и н, т о в а р и щ и другие

При обращении к человеку или упоминании о нем в разговоре, в письме, документе местоимения используются как заместители имени, имени и отчества, фамилии, названий человека по должности, профессии и т. д. Эти-то формы часто и служат собственно обращениями: ведь не говорят, так как это невежливо, *Ты, подойди-ка сюда* или *Вы, не слышите, что ли?*, а называют человека *Коля, Николай Иванович, товарищ Петров, профессор, гражданин.*

Люди примерно одного возраста, находящиеся друг с другом в близких или дружеских отношениях, использу-

ют для обращения имя в сочетании как с *ты* (обычно), так и с *вы*: *Галя, ты закончила работу?; Боря, я к тебе завтра приеду; Юра, вас вызывают к директору.*

По имени и на *ты* обращаются взрослые к детям. Однако уже к подросткам 14—15 лет в некоторых ситуациях принято обращаться по фамилии и на *вы:* во время урока так поступает, например, большинство учителей, преподающих в IX—X классах школы, и преподаватели техникумов.

При нейтральных отношениях между взрослыми принято обращение по имени и отчеству. Оно сочетается с местоимением *вы*: *Галина Николаевна, вы закончили работу? Юрий Владимирович, вас вызывают к директору* [1].

По имени и отчеству обращаются дети и подростки к учителю или воспитателю и к знакомым взрослым (не родственникам!).

Официальные отношения — например, директора и подчиненных, сослуживцев (преимущественно в производственной ситуации, например, на совещании) и т. д.— допускают как обращение по имени-отчеству, так и другие формы*: товарищ Иванов, товарищ директор.* Вышестоящее лицо может обратиться к нижестоящему просто по фамилии; например, начальник цеха может сказать рабочему (если тот моложе его, или примерно одних с ним лет, или же не намного старше): *Степанов, зайдите ко мне после смены.* К пожилым и в этих случаях принято обращаться по имени и отчеству.

Форма обращения часто зависит от ситуации, от ролей, в которых выступают общающиеся, от психологических особенностей данного речевого акта.

Перемена в формах обращения, вызванная психологическими причинами, описана М. Ю. Лермонтовым в «Герое нашего времени». Узнав, что Печорин похитил Бэлу, Максим Максимыч, штабс-капитан, надел эполеты, шпагу и пошел к Печорину, который был прапорщиком.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже.— Разве вы не видите, что я к вам пришел?

---

[1] Обращение по имени-отчеству в сочетании с *ты* в современном русском языке стилистически окрашено. Оно используется либо в шутку, либо ограничено определенной социальной средой и ситуацией общения. Ср. на партийном собрании: *Виктор Иванович, тебе слово.*

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубочку? — отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

— Я все знаю,— отвечал я, подошед к кровати...— Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

— И, полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!..

— Митька, шпагу!

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:

— Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Ну, признайся,— сказал я ему.

В этом замечательном диалоге характерны многочисленные примеры различного отношения Максима Максимыча к поступку Печорина — в зависимости от того, в какой роли он выступает: в роли старшего по званию, начальника, Максим Максимыч употребляет официальные формы обращения: *господин прапорщик, вы, к вам* и т. д., исполнив же служебный долг, он переходит на другой тон, увещевательно-дружеский, и использует при этом совсем другие средства: обращение на *ты* и по имени-отчеству.

В хорошо известном нашим читателям романе А. Фадеева «Разгром» есть такая сценка. Командир партизанского отряда Левинсон посылает молодого партизана Морозку с поручением. Тот медлит уходить, недовольный приказом командира.

— Что же ты стоишь? — рассердился Левинсон.

— Да что, товарищ командир, как куда ехать, счас же Морозку. Будто никого другого и в отряде нет...

Морозка нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышло официальней: обычно называл просто по фамилии.

В современном русском языке есть и другие формы обращения. Так, врача в личном общении называют *доктор:*

Доктор, у меня опять боли в сердце. Среди медиков, а также в среде ученых принято обращение *коллега*, особенно в более или менее официальных ситуациях: на консилиумах, конференциях, при (обычно письменном) обращении к иностранному ученому и т. п.: *уважаемый коллега, дорогой коллега.*

Сравните несколько ироническое употребление этого слова в уже цитировавшемся рассказе М. Булгакова «Тьма египетская»:

Пелагея Иванна [акушерка] *прикрыла заслонку и заговорила, потупившись:*

— Приезжаю я в то же Дульцево...

— Это Дульцево — знаменитое место,— не удержался фельдшер и добавил:— Виноват! Продолжайте, к о л л е г а!

— Ну, понятное дело, исследую,— продолжала к о л л е г а П е л а г е я И в а н н а...

Специфическими чертами характеризуется этикет обращения друг к другу членов небольших групп — производственных, учебных и т. п. Интересно, например, что люди одного возраста, связанные общей деятельностью, могут называть друг друга *девчонки*, *девчата*, *ребята*, несмотря на то что «ребятам» по 50—60 лет. Помню, как я, еще школьник, недоумевал, каких р е б я т имеет в виду отец, рассказывая мне о своем заводе. А теперь мой собственный сын удивляется, что своих сослуживцев, сорокалетних мужчин, я называю ребятами.

У военных принято строго единообразное обращение друг к другу: *товарищ* + звание = *товарищ лейтенант, товарищ гвардии майор, товарищ генерал.*

Слова *товарищ* и *гражданин (гражданка)* используются при обращении к незнакомому человеку: *Товарищ, вы не скажете, как пройти к универмагу?*; *Гражданка, вы зонтик оставили.*

Но оказывается, что этих слов — *товарищ* и *гражданин* — недостаточно при многообразных контактах незнакомых и малознакомых людей. Иногда ни одно из них не может быть использовано, и говорящий испытывает затруднения. Например, называя женщину, стоящую за прилавком, *товарищ продавец*, вы невольно чувствуете, что звучит такое обращение чересчур официально. Но и *девушкой* как-то неловко называть тридцати-сорокалетнюю женщину...

Как обратиться к пожилому человеку на улице? *Товарищ? Папаша? Гражданин?* Как назвать пожилую домохозяйку? *Гражданка? Мамаша? Тетя?*

Не всегда годятся *гражданин* и *товарищ* и при обращении друг к другу незнакомых людей примерно одного возраста, в особенности если ситуация и характер вопроса не располагают к официальному общению.

В последние десятилетия в речевой обиход литературно говорящих людей стали проникать такие формы обращения, которые традиционно были чужды культурной языковой среде: *папаша*, *друг* (преимущественно в устах мужчин молодого и среднего возраста), *девушка* и др. Родина их — просторечие, которое издавна активно использует в функции обращения термины родства (*мамаша*, *отец*, *братok*, *сестренка*, *сынок*, *дочка*) и слова-обозначения определенных ролей (*друг, приятель, товарка* и др.).

Любопытно, что некоторые из этих слов, попадая в литературно-речевой обиход, тянут за собой и особенности их употребления: к отцу, к приятелю, к другу обращаются ведь на *ты*, поэтому и в качестве обращения эти слова естественно требуют единственного числа местоимений и глаголов: *Послушай, приятель; Садись, папаша* и т. п. А такое словоупотребление оказывается в д в о й н е ч у ж д ы м принятому в культурной среде этикету: *папаша* и *ты* — незнакомому человеку! В просторечной же среде это не вызывает отрицательных оценок.

В связи с этим заметим, что просторечие ненормативно, в том смысле, что никто не регламентирует манеру говорить, никто не указывает, как правильно, «просторечно», а как ошибочно. Но и здесь, в этой неуправляемой речевой стихии складываются свои традиции словоупотребления. Такова, в частности, традиция использования перечисленных слов для обращения к незнакомому человеку. Для просторечия это привычный, регулярно употребляемый набор средств и, как видим, набор, достаточно хорошо учитывающий различия адресата по возрасту и полу (но игнорирующий самые элементарные правила вежливости!).

В литературном обиходе такой разветвленной «сетки» обращений нет. Это слабый участок литературного языка. А всякое влияние легче пробивает себе дорогу как раз на слабых участках. В данном случае слабой оказывается ткань литературно-нормативных средств. И ничего удиви-

тельного, что на этом месте появляется заплата из другого материала.

Конечно, очень многие носители литературного языка не принимают просторечных форм обращения. Но нехватка средств дает себя знать. Писатель Владимир Солоухин предлагал даже возродить старые обращения *сударь*, *сударыня*, но его призыв не имел успеха. Между тем очевидно, что *товарищ* и *гражданин*, которые приняты у нас в качестве обращения к незнакомым людям, недостаточно универсальны [1]: нужны другие, менее официальные формы. Не исключена вероятность, что если литературный язык не выработает таких форм, то идущие из просторечия способы обращения смогут укрепиться в нем.

В современном же речевом обиходе, при очевидной недостаточности системы литературных средств обращения, вместо них нередко используются обороты типа *будьте добры*, *простите*, *скажите*, *пожалуйста*, *не скажете* и др.— с них начинается вопрос или просьба, обращенные к продавцу, официанту, случайному прохожему, пассажиру и т. д.:— *Скажите, хлеб свежий?*;— *Пожалуйста, примите заказ;*— *Простите, вы не скажете, как пройти к музею Достоевского?;*— *Будьте добры, оторвите два билета;*— *Скажите, пожалуйста, который час?*

В подобных фразах эти обороты выступают сразу в двух ролях — роли обращения и как средство, смягчающее просьбу или вопрос, делающее их вежливыми.

Проверьте себя: как вы обращаетесь в автобусе к стоящему рядом пассажиру, протягивая ему мелочь с просьбой передать в кассу или кондуктору? Вряд ли вы называете его *товарищ* или *гражданин*: скорее всего начинаете с оборота *будьте добры*, или со слова *пожалуйста*, или же используете какое-то другое средство. (Если же вы этого не делаете, а прямо говорите: «Передайте на билет» или «Оторвите два», не заботясь о том, чтобы ваши слова звучали как просьба, то это свидетельство пробела в вашем воспитании: вы еще не научились необходимой в подобных случаях элементарной вежливости.)

---

[1] Это объясняется тем, что они стилистически не нейтральны: и *товарищ*, и в особенности *гражданин* соотносятся прежде всего с официальными сферами и видами общения.

Эти формулы, с которых мы начали главу (*будьте добры*; *скажите, пожалуйста* и т. п.) используются для придания вежливого оттенка разнообразным высказываниям, непосредственно адресованным слушателю,— просьбе, благодарности, приглашению, извинению и т. п. Набор формул, как мы уже выяснили, относительно невелик, а употребление их регулируется правилами, общими для всех носителей литературного языка.

Надо сказать, что этот набор в современном языке меньше, чем в языке XIX в. Точнее, в нем есть и такие единицы, которые раньше использовались часто, а теперь или совсем не употребляются, или встречаются крайне редко, в основном у людей старшего поколения. В сокращении числа оборотов, принадлежащих к «формулам вежливости», так или иначе сказались различные причины социального и лингвистического характера. Кое-какие из формул носили явный отпечаток старого дворянского этикета, поэтому они были отвергнуты в советское время. Другие содержат в своем составе архаические языковые элементы: *благодарствуйте*, *нижайше*, *покорнейше*, *поелику (возможно)* и т. п. Но сокращение «этикетного» словаря, по-видимому, не означает, что уменьшилась необходимость в различного рода формах вежливого обращения. В современном русском обществе действует достаточно сложная система этикета. Она обслуживается меньшим, чем в XIX в., числом языковых «формул вежливости», однако это значит лишь то, что каждая из них выполняет большее число функций, чем прежде. Так, слова и обороты *извините*, *простите*, *будьте добры*, *пожалуйста* и некоторые другие используются при выражении и просьбы, и извинения, и просто в качестве обращения.

В русской культурной среде п р о с ь б а выражается с непременным добавлением этикетно-речевых элементов *пожалуйста, будьте добры, будьте любезны, прошу вас, не откажите в любезности, можно попросить вас, позвольте, нельзя ли, не будете ли вы так добры* и др.: — *Б у д ь т е д о б р ы, запишите меня к терапевту: — Передайте, п о ж а л у й с т а, соль; — М о ж н о п о п р о с и т ь вас закрыть окно?; — П р о с т и т е, вы н е м о г л и б ы помочь мне заполнить бланк? Я забыла дома очки.*

Некоторые из этих формул архаичны: — *Не будете ли столь любезны...;— Не откажите в любезности сообщить мне номер телефона консерватории.*

Такие же, несколько архаические обороты есть и среди «формул вежливости», используемых для других целей. Так, для выражения благодарности сейчас употребляются главным образом нейтральные *спасибо* и *благодарю* (впрочем, во втором слове заметен книжный оттенок, однако он не мешает этой глагольной форме использоваться довольно широко), реже — *весьма признателен;* еще реже, скорее как стилизация, нежели как живое словоупотребление,— *покорнейше благодарю.* В языке XIX в. оборот *покорно (покорнейше) благодарю* был вполне обычен и, по всей видимости, стилистически нейтрален:

Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами:

— Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли.

— Покорнейше благодарю, я сыт (Н. В. Гоголь. Мертвые души);

— Как здоровье вашей сестры? — спросил каким-то особенно ласковым голосом Рудин у Волынцева.

— Покорно благодарю. Она здорова. (И. С. Тургенев. Рудин).

Приглашение в современном обиходе сопровождается употреблением этикетных формул *пожалуйста, прошу (вас, тебя),* устаревших *милости прошу, не соблаговолите ли..., (не) угодно ли...:— Пожалуйста, проходите в комнату; — Прошу вас, садитесь вот здесь; — Кому угодно высказаться?* (так обращался к членам ученого совета в Институте русского языка покойный проф. С. И. Ожегов, автор известного «Словаря русского языка»).

В просторечии иногда вместо *спасибо* говорят *мерси,* однако чаще это словечко, заимствованное из французского языка, используется с шутливым оттенком (в частности, и носителями литературного языка).

Извинение — за оплошность, за беспокойство, за опоздание и т. д.— не обходится без слов *простите, извините, извиняюсь, виноват* (последнее имеет некоторый галантно-просторечный оттенок, но вполне литературно): *— Извините, я толкнул вас нечаянно;— Простите за беспокойство, который час?;— Извините, я занят;— Виноват, я ошибся дверью.*

Как видим, эти слова используются не только в тех

случаях, когда человек действительно просит извинить его за что-то. Больше того: если мы чувствуем, что вина наша перед кем-либо велика, то мы вряд ли прибегнем к этим стандартным, избитым оборотам, а поищем более весомые слова. Перечисленные обороты годятся как раз в качестве выполняющих чисто этикетную функцию средств. В собственное значение их никто уже не вдумывается. Иначе... Иначе пришлось бы признать, что говорить *извиняюсь* — бессмыслица: извиняю себя! И до недавнего времени знатоки русского слова именно по этой причине отрицательно оценивали возможность употребления этой глагольной формы в литературной речи. «...Наш язык портится,— писал в 1931 г. А. И. Куприн.— Наступившему на мозоль нельзя говорить *извиняюсь* (т. е. извиняю себя). Надо сказать: *извините меня* или *простите*; ведь пострадавшему не не будет легче или приятнее, что вы сами себя извиняете в неуклюжестве».

Выясним, как зависит форма просьбы, благодарности, приглашения и т. п. от отношений между собеседниками, от их положения в данной ситуации. Наблюдается такая закономерность: чем более различны, контрастны социальные роли и такие признаки говорящих, как возраст, социальное положение и некоторые другие, тем более вежливо обращение «низшего» к «высшему». Сильные различия в социальных признаках, которыми характеризуются участники общения, обычно вызывают бóльшую или меньшую официальность отношений говорящего и слушателя (по крайней мере в данной речевой ситуации). Отсюда вывод: чем официальнее отношения, тем бóльшая необходимость в использовании этикетных форм; и наоборот, при интимных, дружеских взаимоотношениях надобность в этих формах минимальна.

Особую область современного речевого этикета представляют вопросы и реплики по телефону — те, с которых начинается разговор. Дело в том, что разговор двоих в этом случае, в сравнении с другими формами устно-речевого общения, отличается важным обстоятельством: собеседники не видят друг друга. Из-за этого налаживание контакта требует специальных средств, которые замещали бы собой отсутствие мимики, жестов, всего облика участников диалога.

В качестве отклика на звонок (а известно, что первым начинает разговор не тот, кто звонит, а тот, кому звонят:

в визуальной беседе он бы ответил на вопрос, а здесь в качестве вопроса выступает неречевой сигнал — звонок) употребляются слова и обороты: *Алло; Да; У телефона; Я слушаю* или просто *Слушаю; Вас слушают* и др.

Звонящий обычно просит позвать к телефону нужное ему лицо: — *Будьте добры, позовите Валю; — Комарова, пожалуйста;— Можно Игоря?*

Неэтично, позвонив куда-либо, начинать разговор с вопросов: *Кто это?* или *Кто у телефона?*

Если звонящий узнал собеседника по голосу, он может спросить:— *Это Николай Дмитрич?* или, с вопросительной интонацией: — *Николай Дмитрич? Это Соколов.* Если же собеседника по голосу узнать не удалось, то, прежде чем расспрашивать, кто это, лучше представиться самому: *Это Виктор говорит. Можно попросить Марину?*

При ошибке — человек неправильно набрал номер телефона,— ему отвечают:— *Вы ошиблись* (номером); *Вы не туда попали.* Невежливо в таких случаях на вопрос: — *Можно Иванова?* — отвечать односложно;— *Нет* или *нельзя* или же задавать встречный вопрос:— *А вы куда звоните?*

Интересно различие между самоназыванием (представлением) по телефону и тем, как именует звонящего собеседник: если отношения между говорящими более или менее официальные, то первый обычно рекомендуется, называя себя по фамилии: *Это Соколов (Петров, Лидин).* Собеседник же назвать его просто по фамилии не может, а называет либо по имени-отчеству, либо при помощи сочетания «товарищ+фамилия».

Формы речевого этикета используются не только в устной речи. Так как это средства л и ч н о г о общения, то их употребление необходимо и в некоторых жанрах письменной речи — прежде всего в личной и деловой переписке. И здесь, как при устном общении, действует закономерность: чем более официальны отношения между участниками коммуникативного акта, тем более официальны формы их обращения друг к другу.

Если вы хотите выразить высокую степень почтительности и уважения к лицу, занимающему официальное положение и при этом вам мало знакомому, то вы обратитесь к нему при помощи слова *глубокоуважаемый* (или реже, *многоуважаемый*): *Глубокоуважаемый Федор Иванович!* При более или менее нейтральном отношении к ма-

лознакомому или вовсе незнакомому адресату используется сочетание «*уважаемый*+*имя-отчество* или *товарищ*+ +фамилия» [1]. Эта формула обычна и в деловых письмах. Если человек, к которому вы обращаетесь, чем-то близок вам — это ваш друг, приятель, любимый учитель и т. д., то естественно начать письмо к нему со слова *дорогой* (Миша, Николай Петрович).

При обращении в письме важны не только постоянные отношения между пишущим и его адресатом, но и то, в каких ролях они выступают в данном случае, какова цель письма: скажем, официальное приглашение может начинаться со слов *глубоко-* или *многоуважаемый*, хотя в обычном письме к тому же лицу используется более «теплая» форма — *дорогой*.

Разнообразны этикетные формы, употребляемые в конце письма: *до свидания, всего доброго, с глубоким (искренним, неизменным...) уважением, искренне ваш* (+фамилия), *искренне преданный вам* (сравните обычное для англичан *yours sincerely* «сердечно ваш»), *жму вашу руку, целую* и т. п. Это в личных и лично-деловых письмах. А официально-деловые (сравните, например, переписку учреждений) оканчиваются либо просто подписью должностного лица: *Директор завода Л. В. Кочетков*, либо формулой «*с уважением*+фамилия и должность»: *С уважением М. Захаров, редактор отдела критики.* Такая скупость в этикетных средствах вполне понятна: ведь они служат говорящему для того, чтобы выразить свое о т н о ш е н и е к собеседнику или к тому, о чем идет речь. В деловых же письмах первостепенную роль играет сообщение, информация, а не отношение пишущего к ней или к адресату.

Речевой этикет составляет важную часть поведения человека. Без знания принятых в обществе форм этикета, не владея словесными средствами, которые выражают разные степени вежливости, уважения, почтительности и т. д., мы не можем правильно использовать язык для установления разнообразных контактов с окружающими нас людьми.

---

[1] Любопытно, что до революции в русских интеллигентских кругах было принято обращение в письмах просто по имени и отчеству — даже в тех случаях, когда лицо, к которому обращались, было известно и почитаемо. Например, К. И. Чуковский свое письмо к Л. Н. Толстому начал так: *«Лев Николаевич.* Не кажется ли Вам...» Наверное, сейчас такое обращение может быть расценено как не вполне почтительное.

Иными словами, владение формами речевого этикета необходимо человеку для удовлетворения насущной потребности — о б щ а т ь с я с себе подобными.

СЛОВО И ЖЕСТ

... Кроме слов можно было бы мысли изображать через разные движения очей, лица, рук и прочих частей тела, как пантомимы на театрах представляют.

М. В. Ломоносов

Вообразим себе такую картину.

Встречаются два приятеля, давно не видевшие друг друга.

— О-о, кого я вижу! — восклицает один.

— Алеша, дорогой, ты ли это? Вот уж встреча так встреча! — кричит другой.

При этом оба стоят на некотором расстоянии друг от друга, неподвижно, руки опущены вдоль тела, выражения лиц бесстрастные. Реальная картина? Нет, конечно,— фантастическая: в жизни ничего подобного вы не увидите. Читая реплики, которые выписаны выше, мы невольно представляем себе эту сценку в динамике: первый из приятелей, возможно, приветственно взмахнул рукой, улыбнулся, второй, заметив первого, скорее всего радостно бросился ему навстречу; друзья пожали друг другу руки или даже обнялись и т. д., т. е. речь их сопровождалась какими-то действиями, имевшими то же назначение, что и слова: пожатие рук или объятья, улыбки, приятное изумление на лицах и т. д., так же как и произнесенные ими восклицания, выражают приветствия и радость от неожиданной встречи.

Другой пример.

Вы смотрите телепередачу. На экране молодой рабочий, передовик производства. Рядом корреспондент, задающий рабочему вопросы о его заводе, о том, как их бригада добивается столь высоких показателей, и т. п. Идет диалог: вопрос — ответ, реплика — короткий рассказ. Получается как будто неплохо.

Но что-то мешает вам отнестись к этому диалогу как к естественному. Вглядитесь внимательней: оба собеседника на экране скованы, неподвижны. Ни взмаха рукой,

ни какого-нибудь другого непроизвольного движения. Журналист явно торопится от одного заготовленного вопроса к другому (время!), а парень старательно отвечает. В диалоге нет свободы, нет ж е с т а, который так обычен в нормальной, вольно текущей беседе. И поэтому передача воспринимается как нечто искусственное, как грубая подделка под живую речь.

Я привел два этих примера, чтобы показать: жест и мимика естественны, необходимы в у с т н о м общении людей, они во многом создают то своеобразие звучащей речи, которое отличает ее от речи письменной. Именно звучащей, а не обязательно обращенной к видимому собеседнику: посмотрите на говорящих по телефону — собеседник не виден, он иногда за тысячи километров, но слышен его голос, и, реагируя на него, на доносящиеся издалека слова, смех, дыхание, человек здесь, на этом конце провода взмахивает рукой, отрицательно качает головой, в задумчивости трет лоб, пожимает плечами и т. д.

Условимся называть жестами такие несущие информацию движения, которые человек в процессе речи делает р у к а м и и г о л о в о й. (Кроме них, есть еще звуковые жесты, которые также выражают определенный смысл; например, *гм* — сомнение, *фюить* (так непохоже обычно изображают свист) — жест разочарования, однократное *ха*! — жест недоверия и др.)

Жестикуляция особенно интенсивна в минуты эмоционального возбуждения, т. е. тогда, когда контроль над собственным поведением ослабевает. Чем свободнее чувствует себя говорящий, чем эмоциональнее его речь, тем более часты и отчетливы его жесты. Разумеется, здесь есть индивидуальные различия: одни люди сдержанны, они и в непринужденной обстановке жестикулируют скупо; другие, напротив, сопровождают жестами свою речь и в официальных ситуациях. Однако отмеченная закономерность проявляется и у тех, и у других, только в разной мере: если человек и в условиях непринужденного общения жестикулирует мало, то в официальной обстановке жестов в его речи будет еще меньше!

Жест чаще всего появляется в такие моменты речи, когда говорящий эмоционально выделяет слово или оборот. Жест либо сопровождает слово, д о п о л н я я или п о д ч е р к и в а я его смысл, либо з а м е щ а е т какой-то элемент высказывания. Он служит выразителем недоумения,

утверждения, вопроса, намека, огорчения, радости, насмешки и других человеческих чувств.

Вот несколько примеров, взятых из художественной литературы. *Вдруг слабым манием руки На русских двинул он полки* (А. С. Пушкин. Полтава); — *Так вы в Персию? ...а когда вернетесь? — кричал вслед Максим Максимыч... Коляска была уже далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?* (М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени); *В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть. — Вы желаете сделать вопрос,— сказал председатель и, на утвердительный ответ товарища прокурора, жестом показал ему, что он может спрашивать* (Л. Н. Толстой. Воскресение); [Приказчик Яков]: — *Не угодно ли вам будет самим с ним* [мельником] *поговорить? — Что же он говорит? — спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником* (Л. Н. Толстой. Детство, отрочество, юность); *Саша обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притопывать туфлями, как бы танцуя от радости. — Великолепно! — говорил он, потирая руки.— Боже, как хорошо!* (А. П. Чехов. Невеста); *Доктор захохотал басом и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может вымолвить ни одного слова* (А. П. Чехов. Княгиня).

Иногда жест бывает двусмыслен: его можно понимать и так, и этак: [В доме умирающего графа Безухова] *Княжна со своею несообразно-длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости* (Л. Н. Толстой. Война и мир); иногда контрастен тому смыслу, который выражается словами: — *Вот как!.. И ты в большом свете! — сказал он* [Андрей Болконский] *Пьеру. — Я знал, что вы будете,— отвечал Пьер. — Я приеду к вам ужинать,— прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ.— Можно? — Нет, нельзя,— сказал князь Андрей смеясь, пожатием*

руки давая знать Пьеру, что этого не нужно спрашивать (Л. Н. Толстой. Война и мир).

Но всегда жест соединен со словом, выступает в тесном взаимодействии с ним. Даже в тех случаях, когда жест заменяет целое выражение, он ориентирован на определенный смысл, на сообщение чего-то такого, что актуально для собеседника. Этим речевые жесты отличаются от жестов действия: например, приложил ладонь к уху (вслушиваясь), протянул руку к лежащему на столе яблоку, вскинул локоть, защищаясь от удара, инстинктивно пригнулся, заслышав свист снаряда,— в этих и подобных им жестах не содержится никакого сообщения, т. е. они не выражают ни смысла, ни эмоций, которые могли бы быть переданы словесно.

Для наиболее распространенных, типичных речевых жестов в языке существуют устойчивые обозначения: *развел руками* в знак удивления, *пожал плечами* (='не знаю'), *покачал головой* (знак отрицания), *вытаращил глаза* (от изумления) и т. п.

У животных (например, у обезьян) тоже есть жесты, которые выражают достаточно сложные эмоциональные состояния. Однако, как писал об этом еще Л. С. Выготский, жесты животных «непосредственно связаны с самим действием»: самка шимпанзе подталкивает детеныша к еде или жестом заставляет его идти или достать плод и т. д. У человека жест связан с речью, он дополняет и подчеркивает то, что передается словами.

И тут различия

...говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа...
Но это нам не привилось.

А. Вознесенский

Как правило, речевые жесты национально и социально обусловлены: у разных народов разные жесты служат для выражения одного чувства (например, удивления), а одно и то же движение рук может обозначать разное — от гнева до изумления; жест, принятый в определенной социальной среде, может вызывать осуждение или непонимание в других коллективах и т. д.

Например, у итальянцев приняты жесты, совсем неизвестные многим другим народам: руки над головой обозначают недоуменно-возмущенный вопрос *Что вы хотите*?!; движение вытянутого большого пальца ко рту значит 'здóрово!', ногти под подбородок = 'а мне плевать на это'.

У американских индейцев очень выразительны жесты, связанные с обозначением жизненно важных для них ситуаций: удар кулаком по ладони означает выстрел, два пальца изображают идущего человека, а четыре — бегущую лошадь. Если индеец хочет показать, что один человек следит за другим (или охотник следит за дичью), он поднимает на уровень своих глаз руку, ладонью к себе, с большим пальцем, поднятым кверху.

Японцы, говоря о себе, показывают не на грудь (как русские), а на нос. Китайцы хлопают руками от горя или разочарования, а от радости царапают себе щеки и уши. Высунутый язык для европейца — это знак поддразнивания, в древнем Китае он означал угрозу, в Индии — гнев, у народов майя — мудрость. Для выражения смысла 'сыт по горло' (чем-нибудь, необязательно едой) русский проводит ладонью по горлу, тогда как француз тоже проводит ладонью, но на уровне губ или чуть выше. Вот так:





Многие жесты кажутся членам данного общества столь естественными, что никому и в голову не приходит мысль об их национальной обусловленности. Подчас даже искушенные и наблюдательные исследователи могут попасть впросак и не увидеть национальной особенности того или иного жеста. Так, Т. Шибутани, рассказывая о специфике жестов, принятых в каждом обществе, и об их отличиях от жестов общечеловеческих, пишет: «Существует ряд общепринятых телодвижений — так, достаточно поднять большой палец, чтобы остановить автомобиль» («Социальная психология», с. 122). Но это не

общепринятое движение! В русском обществе, например, бытует другой жест для той же цели — поднятая рука.

Национальную окраску имеют жесты, употребляемые при счете, перечислении чего-либо, при изображении числа. Американец показывает число, поворачивая руку ладонью наружу, француз и русский поворачивают ее ладонью к себе. Считая *раз, два, три* (или *во-первых, во-вто-*





рых и т. д.), русский загибает пальцы на открытой левой или правой руке, начиная с мизинца, при помощи указательного пальца другой руки, венгр в такой ситуации, произнося соответствующие венгерские числительные, предварительно сжимает правую руку в кулак и на каждый счет распрямляет по одному пальцу, начиная с большого и делая чуть заметные движения этой рукой (другая рука в счете не участвует).

Видимо, не только отдельные жесты, но и все двигательное поведение человека во время речи имеет национальные особенности, постичь которые, кстати сказать, труднее, чем сам язык. Можно вполне овладеть языковыми средствами, но при этом отличаться от природных носителей этого языка жестами, мимикой и другими компонентами речевого поведения.

В том, что это так, мы можем убедиться, читая, например, повесть Л. Н. Толстого «Рубка леса». Великолепно зная и чувствуя не только русский язык, но и мельчайшие нюансы русского речевого поведения, Л. Н. Толстой отмечает такую черту у одного из персонажей этой повести — Крафта, немца русского происхождения: свободно владея русским языком, Крафт в реальном речевом общении неточен именно в жестикуляции: — *Изволите видеть...— начал Крафт, чрезвычайно одушевленно, делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору.*

Известен случай с европейским ученым, который настолько хорошо изучил язык дервишей (странствующих

монахов-мусульман), что в течение года жил среди них неузнанным. Разоблачен же он был по жесту, характерному для европейцев и не принятому на Востоке: слушая музыку, он отбивал такт ногой. Это, впрочем, случай не уникальный: провалы некоторых разведчиков порой имели только одну причину — невладение системой жестов, характерной для речевого общения в данном социальном коллективе.

Некоторые народы имеют весьма разработанные и достаточно самостоятельные языки жестов. Они существуют наряду со звуковым языком и используются нередко вместо него. Необходимость такого отдельного использования жестов связана с определенными обычаями. Например, женщины одного из племен, населяющих Австралию, в течение года после смерти мужа не имеют права произносить какие-либо слова. Чтобы общаться со своими соплеменниками, они и прибегают к языку жестов. В другом австралийском племени общение посредством одних только жестов используется во время охоты: с помощью рук охотники умеют рассказать своим товарищам, какие животные ими обнаружены, в каком они находятся положении (лежат, стоят, спрятались в нору и т. д.), сколько самцов и самок, сколько детенышей и т. п. По сообщению одного из исследователей, изучавших австралийские племена, племя диэйри, «кроме звукового языка, имеет еще богатый язык жестов. Для всех животных, для всех туземцев, мужчин и женщин, для неба, земли, ходьбы, верховой езды, прыганья, летания, плавания, еды, питья, для сотен других предметов и действий имеются свои особенные жесты, так что эти туземцы могут разговаривать, не произнося ни одного слова».

У культурных народов мы не найдем подобных детально разработанных жестовых систем (поскольку в них нет и необходимости). Однако, с другой стороны, по-видимому, нет ни одного национального коллектива, члены которого не использовали бы при общении друг с другом какие-либо жесты, пусть менее разнообразные, чем у австралийских и индейских племен, и не столь самостоятельные, но все же совершенно необходимые для живого обмена мыслями и впечатлениями.

Более того, если мы начнем изучать жесты, применяемые в общении, скажем, русскими, то увидим, что жесты характеризуются не только национальным своеобразием,—

они еще дифференцированы социально и даже «стилистически», т. е. так же как и словесные, собственно языковые средства.

В военной среде, например, в качестве обязательного принят жест отдания чести: вытянутая ладонь (или несколько пальцев — в армиях разных государств по-разному) согнутой в локте правой руки приставляется к виску. Наши пионеры приветствуют друг друга — на торжественной линейке, на сборе, отдавая и принимая рапорт и т. д.— также особым жестом: полусогнутая правая рука (ладонь вытянута, пальцы сжаты) над головой. Ни в какой другой социальной среде «военный» и «пионерский» жесты приветствия не используются.

Примеры *стилистического* различия жестов: каждый культурный человеческий коллектив обычно принимает и использует одни жестовые движения и отвергает другие как несущие печать грубости, «простонародности», как символы иного стиля поведения и потому чуждой социальной среды. Подобно неприличным словам, существуют и неприличные жесты, употреблять которые значит грубо нарушать этические нормы, принятые в обществе. По наблюдениям исследователей, лица, не владеющие русским литературным языком, а говорящие на диалекте или просторечии, и в своем жестовом поведении отличаются от носителей литературного языка. В современной культурной русской среде, например, не принят жест, свойственный просторечию: поднятый большой палец как высокая оценка чего-нибудь ('во!').

Часто отличия касаются не самих жестов, а их интенсивности: в русском просторечии (и не только русском, но и, например, в нелитературной речи французов, итальянцев и некоторых других народов) жест более интенсивен, нередка жестикуляция обеими руками (в культурной среде более обычен одноручный жест). Кроме того, «просторечный» жест гораздо чаще, чем «литературный», употребляется *вместо* слова, т. е. *замещает* собой слова и выражения, ясные для собеседника из условий ситуации. В просторечии как бы усиливается и доводится до предела то, что можно наблюдать и в разговорной речи носителей литературного языка. Мы уже отмечали, что ведущей в разговорной речи является тенденция к сокращению, редукции словесных средств и к их замене элементами ситуации: вместо того чтобы называть предмет, на

него просто показывают, вместо выражения намерения дать что-либо другому дают это что-то и т. д. (см. с. 78):

— *Дайте мне вот эту тетрадь.*

— *Эту?*

— *Нет, рядом.*

Это типичный диалог покупателя с продавцом, и каждый из говорящих сопровождает произнесение слов *вот эту, эту, рядом* указательными жестами.

Другой пример:

— *Какой ширины там проход? Такой?*

— *Нет, поменьше, такой вот примерно.*

Этот диалог непонятен в написанном виде: неясно, какой же ширины проход, о котором идет речь. Но говорящим все понятно: один из них показал руками предполагаемую ширину, а другой скорректировал его жест, сам расположив руки на более близком расстоянии друг от друга. Интересно, что если бы общение происходило не между двумя людьми в непринужденной обстановке, а скажем, один из них должен был бы в лекции дать представление слушателям о ширине прохода, скорее всего он не употребил бы этот жест, а назвал ширину в сантиметрах или изобразил проход на доске и т. п., при необходимости используя другие, не «измерительные», как в бытовом разговоре, жесты.

Так мы приходим к выводу, что жест, уместный в одной ситуации общения, не используется в других: по своей непринужденности жест контрастирует с атмосферой большей или меньшей официальности, которая характеризует ситуацию «лектор — аудитория». Жест «чесания в затылке» как символ недоумения, поиска решения, загадки и т. п., допустимый в общении друзей, воспринимается как признак невоспитанности или чудачества в поведении оратора. Напротив, некоторые жесты, обычные в профессиональном поведении лектора, актера, уличного регулировщика, выглядят неуместными в домашней обстановке. Вспомните выражение «театральные жесты» для обозначения подчеркнутых, преувеличенно акцентированных жестов, используемых в бытовых ситуациях.

Профессионально обусловленные жесты бывают совершенно необходимы в определенных ситуациях. Например, рабочие шумных цехов — кузнечного, штамповочного, сталевары, крановщики и люди некоторых других специальностей, работающие либо в условиях шума, либо в обста-

новке, когда партнер по работе находится вне досягаемости человеческого голоса,— учатся понимать друг друга по жестам. Стоящий внизу, под краном, рабочий рукой показывает машинисту, поднять или опустить груз и на сколько, подать его влево или вправо, вперед или назад. После окончания работы, по дороге домой, в автобусе или в метро, эти рабочие будут пользоваться обычным языком и употреблять совсем иные, не профессиональные жесты.

Таким образом, подобно словесным средствам жесты более или менее определенно привязаны к типу ситуации и типу социальных ролей, выполняемых говорящими. Они находятся в соответствии с теми коммуникативными задачами, которые человек выполняет в данной роли и в данной ситуации, и характером языковых средств, «обслуживающих» эту роль и эту ситуацию. Различные виды книжной речи плохо сочетаются со сниженными, просторечными жестами, и наоборот. Выполнение профессиональной роли водителем такси или продавцом несовместимо с жестами, заимствованными со сцены, и т. д.

Это еще раз подтверждает ту мысль, что коммуникативное поведение человека — целостное, системное явление, все компоненты которого находятся в гармонии, во взаимном соответствии друг с другом.

Выясним, можно ли различать в жестах некую структуру или же движения рук и головы, играющие роль речевых жестов, столь хаотичны, что в них нельзя выделить некоторые постоянные, типичные фазы, направления, плоскости. Оказывается, структурное описание жестов возможно и оно осуществляется современными исследователями, анализирующими различные национальные системы жестов.

Если приглядеться к ручным жестам, скажем, русским, то можно распределить их по таким признакам: одной или двумя руками производится жест; какая часть руки участвует — палец (пальцы), ладонь, кисть, предплечье...; какова форма той части руки, которая участвует в жесте: сравните вытянутый палец — и согнутый, ладонь с поджатыми или с растопыренными пальцами, кулак и т. д.; пространственная характеристика жеста: в какой плоскости он совершается — в вертикальной или горизонтальной, каково его направление — от тела или к телу (или от головы — к голове), вниз или вверх, влево или вправо; динамическая характеристика жеста: какое это движение — однократ-

ное, как, скажем, при произнесении глагольного междометия *на! нате!*, или же многократное, как например в случае, когда взрослый грозит указательным пальцем расшалившемуся малышу: «Нельзя!», «Смотри у меня!».



Жесты головы, главным образом по чисто биологическим причинам (человек не может двигать головой так же свободно, как рукой), менее разнообразны, чем ручные. При их характеристике важны два признака: пространственный (голова движется влево-вправо, как при отрицании, или вниз-вверх, как при согласии) и динамический (однократность — сравните наклон головы при приветствии — и многократность, как, скажем, при молчаливом поддакивании или же при категорическом отрицании). Зато голова, различные части ее поверхности (лоб, висок, затылок, подбородок) взаимодействуют с руками для осуществления некоторых жестов: покрутить пальцем у виска (намек на глупость), ударить себя по лбу (='эврика!', 'открытие!'), почесать в затылке.



Сочетание перечисленных выше признаков, казалось бы, должно дать чрезвычайно многочисленный (несколько тысяч!) набор жестов. Однако в действительности дело обстоит не совсем так. Каждая нация обходится сравнительно небольшим «словарем» устойчивых, общепринятых жестов, выражающих, например, согласие — несогласие, удивление, отказ, усиление (подчеркивание), радость и др. Это, так сказать, «уровень языка». А на уровне речи, т. е. в реальном повседневном общении, жестов неизмеримо больше: это разнообразные в а р и а н т ы общепринятых жестов, а кроме того, такие движения, которые «привязаны» к конкретной ситуации, к данному высказыванию, обусловлены индивидуальными особенностями говорящего и т. п. При внимательном анализе этих жестов обнаруживается, что они сводимы к тем типичным движениям, которые составляют упомянутый выше «словарь»: это можно сделать, устранив все случайное, определяемое ситуацией, личностью говорящего и т. д. и выделив так называемые

инварианты — т. е. неварьирующие признаки, независимые от указанных факторов общения.

Рассмотрим типичные жесты, принятые в русскоязычной среде и употребляемые в сочетании со словом (или вместо него).

Жесты — помощники слов

...Выразительные движения лица и тела весьма содействуют силе языка.
Ч. Дарвин

Все жесты в речевом общении играют разную роль. Одни служат для изображения предмета, с помощью других говорящие указывают на предмет, без третьих не обойтись при выражении чувств (эмоциональные жесты), четвертые представляют собой устойчивые обозначения ритуальных или вообще этикетных действий.

Изобразительные жесты передают представление о форме, размерах, местоположении предмета:— *Вот такой арбузище купил вчера, килограмм на 10!* — При этом говорящий как бы обнимает руками нечто круглое и большое.— *Малюсенький такой пузырек*,— жест указательным и большим пальцами на уровне лица: расстояние между ними обозначает высоту пузырька.— *Сначала берешь примерно такой вот толщины бревно...*— жест ладонями двух рук, как бы охватывающими нечто круглое и одновременно указывающими толщину.— *Вот на столько там выпало снегу!*— жест: две горизонтально и параллельно друг другу расположенные ладони — изображает толщину снежного покрова. Сравните любопытную передачу жеста в тексте художественного произведения — с помощью указательных слов:— *Он* [Пьер] *один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого* (Л. Н. Толстой. Война и мир). Чтобы понять реплику, читатель должен вообразить себе жест, которым князь Василий сопроводил подчеркнутые слова.

— *А по стенам все книги, книги,*— неоднократное взмахивание вытянутой кистью руки в вертикальном направлении при одновременном движении руки слева направо (или справа налево).

— *Ох и лед на пруду! Ровный-ровный!* — горизонтальное медленное движение ладонью (повернутой вниз) от себя.— *Там течение! Вот так все крутится*,— круговое дви-

жение кистью согнутой в локте руки (обычно в горизонтальной плоскости).

Изобразительные жесты не только служат для сообщения о форме предмета, его движении и т. д., но и могут передавать отношения между людьми, взаимные чувства, интеллектуальные действия. В этом случае жест выступает как метафора: он как бы сравнивает изображаемое им понятие с конкретным физическим действием: — *Они вот так друг с другом* (=во вражде), — произнося эту фразу, говорящий делает жест, который изображен на рисунке.



Студент, выходящий из аудитории, где происходит сдача экзаменов, на вопросы товарищей: — *Ну как — сдал?* — отвечает лаконичным жестом: скрещенные кисти рук — т. е., буквально, «зарубил» (а на обычном русском языке это выглядело бы примерно так: преподаватель спрашивал меня, выяснил, что я ничего не знаю, и поставил мне двойку).

Исследователи современной русской разговорной речи выделяют еще типы жестов, сочетающихся с абстрактными значениями:

— жест предельности или категоричности: сабельная отмашка кистью руки в сочетании со словами *никто, никогда, не* и т. п.: — *Не буду я этого делать;* — *Никогда он этого не говорил.* Жест приходится как раз на «отрицательную» часть высказывания, она выделяется логическим ударением;

— жест объединения: плавное горизонтальное движение рукой от себя: — *Всем-всем читателям раздай этот листок;* — *Наверно, Москву-то всю-у-у объездил?;*

— жест отчуждения, неприятия чего-либо: рука резко движется от груди в сторону: — *Не нужно мне лекарства;* — *Не давайте мне этого;* — *А он пусть как хочет;*

— жест неопределенности: возвратно-вращательное движение кистью руки с разведенными пальцами: — *Что-то не вполне ясное тут у него* (пересказывая чужую теорию); — *Так, кое-что нацарапал...*[1].

[1] Тем, кто хотел бы узнать и о других подобных жестах, я советую прочитать главу «Жест» в уже упоминавшейся книге «Русская разговорная речь» (М., 1973).

Это — более или менее общепринятые изобразительные жесты. Но в процессе речи могут возникать такие движения рук, которые обусловлены только данным высказыванием, связаны с конкретной ситуацией; они либо уточняют сказанное, либо подкрепляют созданный словесными средствами образ.

Например, отец и сын-восьмиклассник обсуждают, как самому сделать телескоп. Сын: — *Надо лупы купить.* Отец, не расслышав, вопросительно смотрит на сына. Сын: — *Лупы,*— одновременно поднимает руку, делая кольцо из большого и указательного пальцев.

Указательные жесты, как видно из их названия, указывают на предмет и тем самым часто заменяют собой имя предмета, описание его свойств, положения в пространстве и т. п. Указательные жесты широко используются в устной речи. Обычно они сопровождаются местоимениями и указательными словами *вот, этот, тот, туда* и др.

— *Покажите вот эту шляпу,*— говорит покупательница продавцу и при этом ладонью вытянутой руки делает движение в сторону понравившейся ей шляпы. Тот же самый жест расценивается этикетом как некультурный, невежливый, когда он направлен на человека: — *Я вот за этим гражданином стою,*— неэтично показывать на «гражданина» рукой или пальцем.

Указательным пальцем или мизинцем можно показывать нужный элемент текста (например, в книге) — строку, букву, рисунок и т. п.



Говоря о себе, человек нередко, произнося местоимение *я*, концом большого пальца касается своей груди, как бы подчеркивая: *именно я*, а никто другой. На *я* при этом делается логическое ударение:— *Я́ вам скажу, что это такое;* — *Это я́ сделал.*

В ситуациях расспросов о том, как пройти на такую-то улицу, где находится такое-то учреждение и т. п., в указательном жесте участвует не только палец, но и вся рука: вы можете вытягивать ее в нужном направлении, показывать, что в таком-то месте надо вернуться или спуститься вниз. Очень часто здесь для наглядности разъяснений наряду с указательными используются и изобразительные жесты.

Указательные жесты делают и головой. Например, однократное движение головой снизу вверх (вариант: снизу вверх в сторону) и возврат в обычное положение означает указание на то, что находится рядом с говорящими, у них на виду: — *Вот этот стол придется убрать;— Вот, полюбуйтесь, что он тут натворил.*

Если таким образом указывают на человека, который находится тут же, рядом с беседующими, то делается это незаметно для него: кивать на присутствующего (как и показывать пальцем) неэтично.

Очень многообразны эмоциональные жесты. В коммуникативных системах культурных народов они преобладают над изобразительными и указательными. Приведем некоторые примеры жестов, которые приняты у русских.

При удивлении обычно разводят руками; в случае предвкушения чего-то приятного — потирают ладони друг о дружку.





Изумление или сомнение выражаются поднятием плеч; сравните жест незнания, неопределенности:

Проговорив эти слова, она [Анна Михайловна] *подошла к доктору.*

— *Cher docteur,— сказала она ему,— ce jeune homme est le fils du comte... y a-t-il de l'espoir?* [Дорогой доктор, этот молодой человек — сын графа... есть ли надежда?]

Доктор молча, быстрым движением возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру (Л. Н. Толстой. Война и мир) — и жест, выражающий недоуменное изумление: — *У меня отвращение к людям! — улыбнулась княгиня, пожимая в изумлении плечами.— У меня!* (А. П. Чехов. Княгиня).



Еще примеры: *Что я наделал?!* — с этими словами говорящий хватается за голову.

При обращении к собеседнику с настойчивым вопросом часто подчеркивают настойчивость вопроса жестом: ладонь полусогнутой в локте руки обращена вверх и к собеседнику (на уровне груди). Однократный мах ладонью сверху вниз в сторону с одновременным резким сгибанием ее посредине означает примерно: 'А, да ладно'. Фраза *Вот где он у меня сидит* обычно сопровождается энергичным указанием на шею или место между лопатками. Сравните: *Но начальнику механической мастерской при автобазе Петру Филипповичу Цареву этот завод был «в о т г д е» (говоря это, он обычно показывал гаечным ключом назад, между лопаток). Дело в том, что теперь рядом с мастерской появился опасный конкурент* (В. Д у д и н ц е в. На своем месте).

Особую — и очень важную — роль в системе средств общения играют жесты, выражающие согласие и несогласие, и жесты, принятые в качестве символов при приветствии, прощании, обращении и других коммуникативных актах, обусловленных э т и к е т о м.

В русском обществе, так же как у большинства европейских народов, согласие или подтверждение выражаются кивком головы ('да'), а несогласие или отрицание — вращением головы влево-вправо ('нет'). У болгар, напротив, отрицание выражается жестом, похожим на наш утвердительный кивок, а согласие — качанием головы влево-вправо. Поэтому, например, русские солдаты, побывавшие в Болгарии во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг., поразились противоположности между своими и болгарскими движениями головы, обозначавшими 'да' и 'нет'. «Обратное распределение знаков и значений,— пишет в связи с этим американский лингвист Р. О. Якобсон,— сбивало с толку собеседников и порой вело к досадным недоразумениям. Хотя собственная мимика поддается контролю в меньшей степени, чем речь, русские могли бы без особых усилий переключить знаки утверждения и отрицания на болгарский лад, но главная трудность заключалась в неуверенности болгар, к какому из двух мимических ко-

дов, своему собственному или же местному, прибегает в каждом отдельном случае их русский собеседник».

Приветствуя друг друга, люди вместе с произнесением *здравствуйте, добрый день* и других формул приветствия наклоняют голову — «кланяются» (но не в том значении этого слова, которое бытовало в старину: кланялись в пояс и даже в ноги,— а в современном, когда наклон головы лишь символизирует приветствие). Мужчины в русском и некоторых других обществах, если они хорошо знают друг друга, а также при знакомстве, в знак приветствия пожимают друг другу ладони [1]; то же может происходить и между мужчиной и женщиной, но в этом случае женщина первой протягивает руку для приветствия.

Жест прощания — поднятая рука и движение кистью либо вперед-назад („старый" жест, сейчас используемый преимущественно детьми и при общении с детьми), либо влево-вправо — новый жест, появившийся, как полагают авторы книги «Русская разговорная речь», под влиянием западноевропейской манеры прощания.

Как мы видим по приведенным примерам, жест чаще всего накладывается на слово, подчеркивая, усиливая смысл, передаваемый им, или же замещает слово, выступает вместо него и в его функции (сравните: *Пьеру он* [князь Василий] *ничего не сказал, только пожал с чувством его руку пониже плеча* (Л. Н. Толстой, Война и мир). Но и в том, и в другом случае жест — дополнительное, а не основное

---

[1] Судя по художественной литературе, в XIX в. обычай пожимать друг другу руки при встрече еще не был так органичен для русских, как сейчас. Сравните пример из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»: *Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями... и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское shake hands* [рукопожатие], *он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: «Добро пожаловать».*

Как известно, Павел Петрович Кирсанов отличался английскими манерами; кроме того, нерусскость жеста автор подчеркивает и тем, что называет его по-английски (по всей видимости, и сам этот обычай пришел к нам из Англии).

В странах Востока, даже в такой европеизированной стране, как Япония, рукопожатие (в знак приветствия) до сих пор воспринимается как странность, как типично западный (и притом дикий) обычай.

средство общения. Понять человека, который говорит не жестикулируя, можно, хотя при этом надо будет преодолевать некоторое ощущение неестественности, которое возникает от его речи. Понять же того, кто только жестикулирует, невозможно (при этом, конечно, имеются в виду обычные носители звукового языка, а не те, кто владеет специальной системой жестов, сравните, например, жестовый язык глухонемых). Тем не менее жест — важный компонент речевого акта: он сообщает речи динамизм, усиливая главное и отсекая само собой разумеющееся, придает ей естественность с точки зрения принятых в данном обществе традиций человеческого общения.

Закрывая книгу

Язык — настолько неотъемлемый компонент всякого человеческого коллектива, что люди часто не замечают его особенностей, не задумываются над тем, как он устроен, как используется в разных жизненных ситуациях. Отсюда иллюзия, что ничего сложного в языке нет и поэтому, стало быть, изучение языка практически ненужное, досужее занятие.

Однако даже небольшой очерк речевого общения убеждает нас в том, что роль языка в современном обществе необычайно велика, что процесс речевой коммуникации сложен и обусловлен многими факторами.

Хотя наука о языке существует давно (одна из первых грамматик была создана древнеиндийским ученым Пáнини в IV в. до нашей эры!), в этой науке еще много неоткрытого. Середина нашего столетия явилась временем, когда в лингвистике были сделаны (и делаются сейчас) новые шаги вперед, привлекшие к себе внимание представителей других научных дисциплин. Для современного языкознания чрезвычайно характерно последовательное стремление к точному и непротиворечивому описанию языковых фактов, к математически строгому истолкованию свойственных языку закономерностей. К особенно значительным и интересным результатам это стремление привело в таких областях лингвистической науки, как семантика (теория значения) и синтаксис.

Вместе с тем все очевиднее становится, что чисто лингвистический анализ языка и его различных применений недостаточен для того, чтобы до конца понять его природу. Нужно, оказывается, гораздо больше и систематичнее,

чем это делалось до сих пор, привлекать данные о явлениях самой действительности, которая отражается в языке, о социальных и психологических отношениях между людьми, о возрастных особенностях речевого развития и еще о многом другом.

Без изучения социальных факторов не могут быть удовлетворительным образом объяснены многие явления как в речевой практике, так и в развитии языка. Несмотря на то, что слова Ж. Вандриеса, крупнейшего бельгийского лингвиста XX в.: «Только изучая социальную роль языка, можно составить себе представление о том, что такое язык»,— были сказаны полвека назад, подлинно научное исследование языка в тесной связи с социальными условиями его существования началось сравнительно недавно.

В этой книге сделана попытка познакомить читателей с некоторыми проблемами, которые принято относить к особой языковедческой дисциплине — *социальной лингвистике*.

В книге затронуты, разумеется, не все темы, обычно относимые к области социальной лингвистики. Ни слова не сказано, например, о взаимодействии и развитии языков народов СССР (а социальные факторы играют в этих процессах значительную роль), о языковой политике, под которой ученые подразумевают деятельность различных организаций и научных учреждений по регулированию лингвистических процессов и явлений: например, выбор так называемых языков-посредников в условиях многонационального государства (в современной Африке языки суахили, сомали и некоторые другие являются как раз такими языками-посредниками, с помощью которых разные племена и народы общаются друг с другом). Не говорится также о нормировании различных нововведений в языке — новых слов, оборотов и т. п.; о пропаганде лингвистических знаний по радио, телевидению, в печати; об упорядочении технической терминологии, орфографии, создании и совершенствовании алфавитов и т. п.

Однако то, о чем рассказано в книге, может создать у читателя некоторое представление о роли языка в современном обществе, о тех задачах, которые решают ученые, исследуя социальные функции языка и его использование в человеческом общении.

Литература для дальнейшего чтения

Те из читателей, кто захочет более глубоко ознакомиться с затронутыми в этой книге проблемами, могут обратиться к указанным ниже изданиям. В список включены как книги и статьи о языке, чтение которых не требует особой лингвистической подготовки, так и более специальные работы, при знакомстве с которыми необходим некоторый минимум лингвистических знаний (они отмечены звездочкой).

* Аврорин В. А. Проблема изучения функциональной стороны языка. (К вопросу о предмете социолингвистики.) Л., «Наука», 1975.

Ахманова О. С., Марченко А. Н. Основные направления в социолингвистике.— «Иностранные языки в школе», 1971, № 4.

* Балли Ш. Французская стилистика. Пер. с франц. М., 1961.

* Будагов Р. А. История слов в истории общества. М., «Просвещение», 1969.

Боровой Л. Путь слова. М., «Советский писатель», 1960.

Булатова Л. Н., Касаткин Л. Л., Строганова Т. Ю. О русских народных говорах. М., «Просвещение», 1975.

Виноградов В. В. Литературный язык.— В кн.: Краткая литературная энциклопедия, т. 4. М., 1967.

* Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., Изд-во АПН РСФСР, 1956.

* Жирмунский В. М. Проблемы социальной диалектологии.— «Изв. АН СССР», 1964. Сер. языка и литературы, вып. 2.

Коломинский Я. Л. Человек среди людей. М., «Молодая гвардия», 1973.

Кон И. С. Социология личности. М., «Наука», 1967.

Крысин Л. П. Язык и социальная действительность.— «Русский язык в школе», 1967, № 3.

Панов М. В. О литературном языке.— «Русский язык в национальной школе», 1972, № 1.

Пешковский А. М. Объективная и нормативная точка зрения на язык.— В кн.: А. М. Пешковский. Избранные труды. М., Учпедгиз, 1959.

* Поливанов Е. Д. Где лежат причины языковой эволюции? — В кн.: Е. Д. Поливанов. Статьи по общему языкознанию. М., «Наука», 1968.

* Русский язык и советское общество. Кн. 1. Под ред. М. В. Панова. М., «Наука», 1968.

Супрун А. Е. Русский язык советской эпохи. Л., «Просвещение», 1969.

Чуковский К. И. Живой как жизнь. М., «Молодая гвардия», 1963.

* Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. М., 1976.

Щерба Л. В. Современный русский литературный язык.— В кн.: Л. В. Щерба. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

* Язык и общество. Сборник статей. М., 1968.

БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

Об этой книге
(3)

ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ ЯЗЫК?
(5)

МНОГООБРАЗНОЕ ЕДИНСТВО
(14)

Язык и география (16) Каждый на свой лад (27) Язык «правильный» и «неправильный» (43)

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
(69)

Смотря по обстоятельствам (69) Как в театре (85) «Путь в общество» и усвоение языка (105) Общение в социальной группе (123) Необходимая вежливость (141) Слово и жест (169)

Закрывая книгу
(187)

www.ruslang.ru

Литература для дальнейшего чтения
(189)

ИБ № 1275

ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ КРЫСИН

ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Редактор *Г. В. Карпюк*

Художник обложки *Б. Л. Рытман*

Художественный редактор *В. Г. Ежков*

Технические редакторы *З. Б. Хамидулина, Р. С. Еникеева*

Корректор *А. А. Баринова*

Сдано в набор 3/VIII 1976 г.
Подписано к печати 24/I 1977 г.
84×108¹/₃₂. Бумага типограф. № 1.
Печ. л. 6. Условн. л. 10,08. Уч.-изд. л. 10,38.
Тираж 100 тыс. экз.
А 06323.

Ордена Трудового Красного Знамени
Издательство «Просвещение» Государственного комитета
Совета Министров РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Государственного комитета Совета Министров БССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Минск, Красная, 23. Заказ 3501.

Цена 27 коп.

27 к.